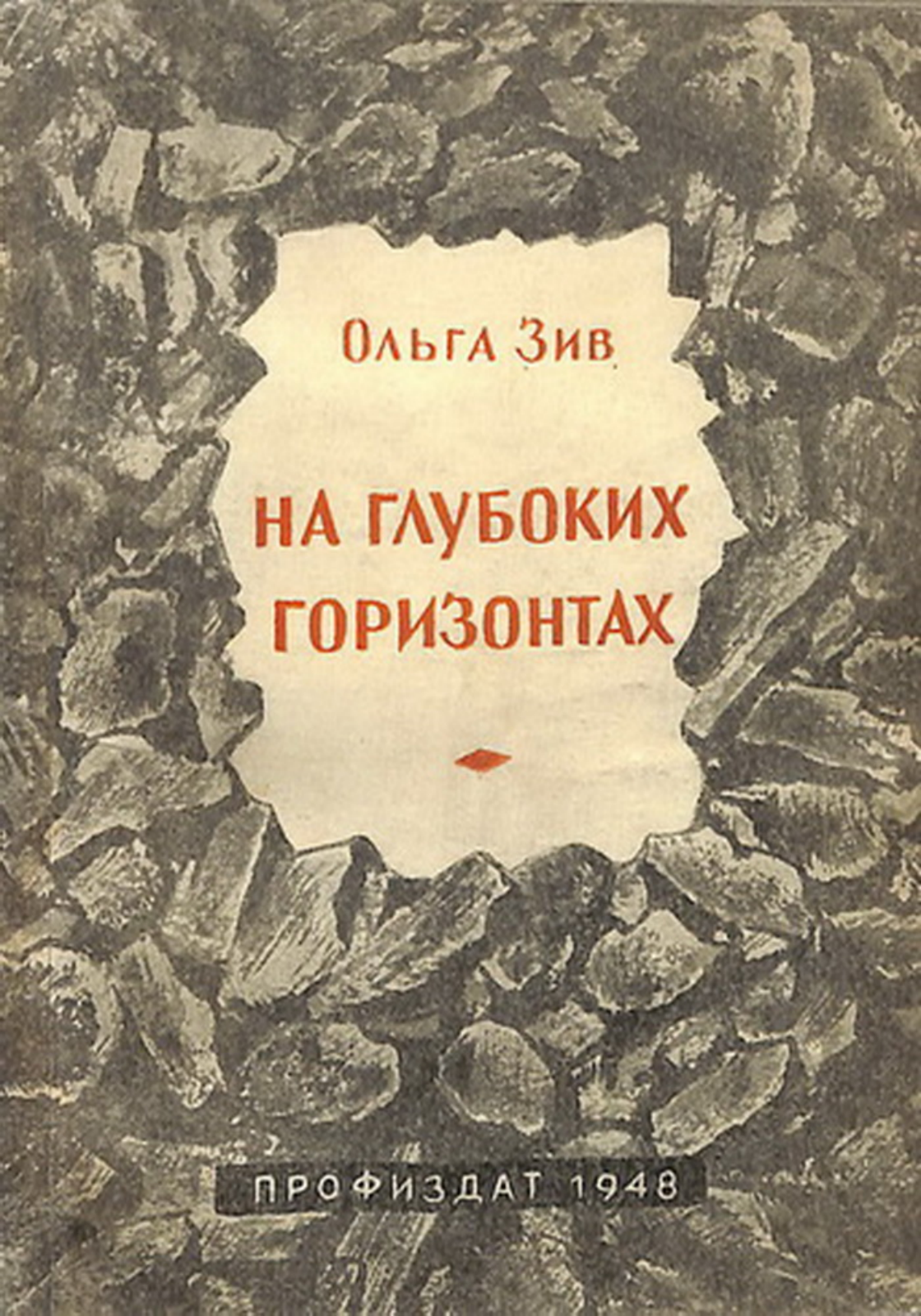


The background of the cover is a detailed, textured illustration of a rocky or stone wall. A large, irregular, light-colored opening in the center of the wall frames the text. Below the text, a small, dark, diamond-shaped object, possibly a pebble or a piece of wood, lies on the ground within the opening.

Ольга Зив

НА ГЛУБОКИХ
ГОРИЗОНТАХ

ПРОФИЗДАТ 1948

891.71

15296-48

3-591

Знв, Длга.

На глубоких го-
ризонтах.

50

ОЛГА ЗИВ

891-71

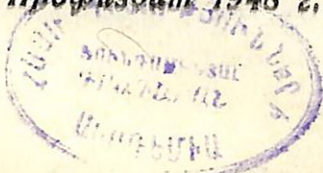
3-591

НА ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТАХ

очерки
и
рассказы

Издательство ВЦСПС

Профиздат 1948 г.



15296-48
Т
3291

РД



HA TAY BOKIX

HA TAY BOKIX

HA TAY BOKIX

HA TAY BOKIX

САМОЕ
ГЛАВНОЕ

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1900

CHICAGO

LIBRARY



THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

В третий раз начинался тот же разговор. Соболевский злился.

— Я все выложил, добавлять нечего.

— Ты рассуждаешь с узко личных позиций.

— Наоборот, я смотрю с государственной точки зрения...

Ту же фразу Соболевский произносил и вчера; Зуев должен был ее помнить. Но Зуев глядел куда-то мимо главного механика.

— Докажи!

И это уже было. Соболевский дернул плечом, встал.

— Сказка про белого бычка. Я доказывал яснее ясного. И еще вспомни, пожалуйста: производительность моей буросбоечной в восемь раз превышала производительность целой бригады. Однако ты изо всех сил противился ее внедрению. Теперь происходит то же самое.

— Ах, скажите, как просто!

Зуев узенькими насмешливыми глазками по-смотрел на медленно красневшего механика.

— Нет, не очень просто... Если б было просто, мне бы не дали этого...

Соболевский коснулся лауреатского значка, прикрепленного к борту синей спецовки.

— Передергиваешь, — сказал Зуев. — Передергиваешь. Разве кто-нибудь отрицал значение твоей буросбоечной для угольной промышленности вообще?.. Но на нашей шахте, в условиях наших горных выработок и в военное время внедрять ее было слишком рискованно... Сейчас ты выдумал этот проходческий комбайн. Но где ты его испытывал? На крохотном экспериментальном участке. На благоустроенном участке, я бы сказал...

— Ладно, — грубо перебил Соболевский. — Все это я уже слышал. Не согласен начинать проходку трехсотого моим комбайном?

— Еще вообще нет решения о трехсотом.

— Одно тесно связано с другим.

Зуев оттопырил толстую нижнюю губу, выражая крайнюю степень неуверенности. Соболевский посмотрел ему прямо в глаза: «Ненавижу!»

— Видишь ли, — усмехнулся Зуев, — сначала все-таки будет решаться вопрос о трехсотом вообще. А уж затем можно начинать думать и о методах работы...

Соболевский понимал, что Зуев нарочно говорит этим невыносимым снисходительным тоном. Еще в институте он умел довести Соболевского до безобразного крика именно такими покровительственными интонациями. Соболевский стиснул зубы:

— Нет, не поймаешь! Студенчество миновало.

Зуев, видимо, понял, что Соболевский сдержался и вспышки не последует.

— Вот что, Петр, — грузно поднимаясь, сказал он, — ты, может, и талантливее меня (он снова, на этот раз презрительно, скривил губы), но так уж вышло, что из нас двоих начальник шахты — я. И мое твердое убеждение, что шахту придется закрывать. Я подал соответствующую докладную в комбинат.

— Но ведь все это было в прошлом году, — снова не выдержал Соболевский, — и тогда комбайн был еще только в чертежах. Решения по шахте нет до сих пор. А обстоятельства изменились. Я сам считал, что проходить трехсотый горизонт обычными методами не стоит. Но теперь-то, теперь-то...

— А я и теперь считаю то же самое, — резко ответил Зуев, рассекая рукой воздух. — Больше того: я считаю чистым авантюризмом твои притязания. А если комбайн не пойдет? Ну, если?!..

Он перегнулся через стол и, тяжело дыша, в упор глядел на Соболевского.

— Он пойдет.

— Она вертится! Скажите, какой Галилей! Но у нас, понимаешь ли, социалистическое плановое хозяйство, а не суд инквизиции. И ты напрасно корчишь из себя мученика науки. Мы оба с тобой состоим в одной партии и оба одинаково заинтересованы в угледобыче...

— Видимо, не одинаково!

Соболевский ногой оттолкнул стул, попавший ему на дороге. Он не рассчитал движения: стул качнулся и с грохотом полетел на бок.

— Не хулигань!

— Сволочь! — закричал Соболевский, потеряв всякую власть над собой. — Карьерист, тихоход несчастный...

Он уже не помнил себя, готовый по-мальчишески лезть в драку.

— Вон! — очень тихо сказал Зуев, и его толстые щеки посерели. — Убирайся вон, или тебя выведет стрелок.

Он поднес руку к звонку.

Соболевский вдруг опомнился. Ему стало стыдно:

— Я виноват, что...

Зуев сделал вид, что не слышит. Рука его все еще лежала на звонке. Соболевский вдруг представил себе, что сейчас в самом деле войдет стрелок. Он схватил свою кепку.

— Ладно!

Пробегая по коридору, он не слышал, как окликнул его Самохин, парторг шахты. Он вообще ничего не видел и не замечал.

Крюков, главный инженер, спокойно сказал вслед:

— Горяч!

Он только что вышел из своего кабинета, расположенного рядом с кабинетом начальника шахты.

— А что... сильно шумели? — с запинкой спросил Самохин.

— Не без того...

— Ну, не черт ли этот Соболевский?

Самохин вопросительно поглядел на Крюкова.

— Вот именно, — все так же невозмутимо подтвердил Крюков. — Но если Соболевский черт, то Зуев, конечно, сам сатана...

Он произнес это ровным, ничего не выражающим голосом и снова скрылся у себя в кабинете.

Все еще не остыв от яростного возбуждения, в которое его привел разговор с Зуевым, Соболевский пробежал сначала Западную улицу, потом свернул на Боковую и, наконец, выскочил на проспект Юных коммунаров, по которому прошлой весной проложили трамвай. Восемь лет работал Соболевский на руднике. Он начинал, когда проспект Юных коммунаров еще не был заложен, а для Западной только вырубали в тайге просеку. О трамвае тогда не помышляли. Старики и до сих пор относились к нему не очень доверчиво. Но молодое население города уже не умело обходиться без трамвая. Соболевский считал себя молодым, но внезапно решил, что стареет. Это случилось совсем недавно — на молодежном вечере в межшахтовом клубе: Зиночка, молоденькая девчонка, не без лихости гонявшая электровоз по главному штреку, изум-

ленно округлила глаза, когда он пригласил ее танцевать.

— Разве вы умеете?

— А что, стар по-вашему?

Она вежливо отвела взгляд.

— Нет, что вы... Просто, такой солидный инженер...

Солидный инженер! Тогда Соболевский вспомнил, что ему пошел тридцать третий...

Солидный, солидный, а вот Зуев выгнал его из кабинета, как нашкодившего мальчишку. Да он и вел себя, как мальчишка. Накричал, оскорбил, теперь у Зуева есть повод ставить вопрос на партбюро и даже в горкоме. Он представил себе, с какой фальшивой скорбью Зуев скажет:

— Талантливый инженер! Талантливый, очень жаль расставаться, но... сработаться не можем.

Всем своим видом он изобразит глубокую печаль и добавит конфиденциально:

— Знаете, у каждого есть свои маленькие слабости. Соболевский, видимо, просто завидует... Мы ведь кончали вместе, ну и... не может переварить, что меня почти сразу назначили управляющим.

— Дурак, дурак, идиот!.. — в новом приступе ярости вслух заорал Соболевский.

Воображение, слишком живое и яркое, всегда мучило его. Он умел себе все представить так, словно это происходило на самом деле. Все: от проходческого комбайна, вгрызавшегося в

грудь неподатливой и богатой кузбасской земли, когда комбайн еще только зарождался в его горячей голове, до зувского голоса на бюро парткома...

— Дурак и подлец! — уже тише повторил он.

— Кто дурак и подлец, Петр Иванович?

Проходчик Бурцев загородил Соболевскому дорогу.

— Здорово, Бурцев!

Соболевский любил этого невысокого, широкоплечего и ласкового человека.

— Кто же, однако, дурак и подлец, а?

Бурцев понимающе улыбался.

«И этот знает», — подумал Соболевский.

— Ладно, Петр Иванович. Моя мать говорила: не ешь так горячо, как подано... Умная была женщина.

— Как, как? — переспросил Соболевский.

— Не ешь так горячо, как подано. Не торопись, значит, а то обожжешься и даже вкуса не распробуешь.

— Умно.

— Я ж и говорю, умная была...

Он деликатно старался не глядеть на инженера: на лице Соболевского выступили темно-красные, почти багровые пятна.

— Ты на шахту, Бурцев?

— Да нет, я нынче свободный. А что?

— Куда бы деваться?

В вопросе Соболевского вдруг прозвучала не-

поддельная тоска. Бурцев подавил сочувственный вздох.

— Тебе надо на шахту, Петр Иванович.

Соболевский сердито скрипнул зубами.

— Надо, надо, — настойчиво повторил Бурцев, — сгоряча человеку всегда море по колено, а козырей им давать тоже не следует.

«Все знает и понимает», — мысленно удивился Соболевский, а вслух недовольно спросил:

— Кому это — им?

Бурцев лукаво прищурился:

— Дуракам и подлецам, Петр Иванович.

Ох, и хитер же ты, Евгений... Евгений...

Соболевский запнулся: как же величают Бурцева?

— Степанович, — подсказал Бурцев.

— А, черт, и верно! Ведь я же знал. Так в кого ты хитрый такой, Евгений Степанович?

— Я не хитрый, — серьезно сказал Бурцев, — я терпеливый и настойчивый. Меня этому деревня научила, Петр Иванович. В сельском хозяйстве без настойчивости ничего не выходит. Еще в детстве, бывало, когда полоть заставляли, — дергаешь, дергаешь сорняки, кажется, уже и спину не разогнуть, а поднимаешься, взглянешь — батюшки! Поле-то еще все перед тобой, необозримое...:

— Да когда это ты в деревне жил? Ты же тут кадровый, раньше меня, кажется...

Они медленно шли теперь обратно к шахте, но Соболевский как будто не замечал этого.

— Я в тридцать восьмом из деревни.

— А я сюда в тридцать девятом из Томска.

Соболевский вздохнул: восемь лет! А что сделано? Словно угадывая его мысли, Бурцев сказал:

— Много же ты успел, Петр Иванович! Очень много. Ты, конечно, счастливый, образование еще до шахты получил полное, не то, что я...

— Не пришлось учиться?

Соболевский впервые подумал, что вот и ровесники, и современники, а жизнь складывалась разное. До сих пор он считал Бурцева вполне счастливым человеком: лучший проходчик рудника, а теперь и машинист врубовки; передовой стахановец, зарабатывает кучу денег, в семейной жизни как будто все хорошо — славная жена (он знал ее по торжественным вечерам в клубе и на шахте), двое детишек. Хорошая квартира, на курорты ездит, вокруг почет и уважение... А вот оказывается, и он чем-то недоволен.

— Учиться? — медленно переспросил Бурцев. — Мало пришлось. Совсем недостаточно. Да я сейчас учусь...

— Сейчас? Где?

— Нигде, сам, — хмурясь, сказал проходчик. — Мне некогда по программе учиться. Географию, химию, историю — это я потом, на свободе. Мне сейчас физика и математика — главное... Хоть за семилетку бы!

— Так как же ты сам? — недоуменно спросил Соболевский. — Трудно ведь.

— Очень! — признался Бурцев. — Так трудно, что хоть бросай. Вот вчера... (он оживился, заговорил быстро). Пришел с шахты, помылся, поел и за учебник. У меня по плану вчера геометрия была. Задачки на построение. Ну вот, веришь ли, Петр Иванович, замучился с одной. До третьего часу ночи потел, и — не вышла. Не сходится с ответом. Жена уже ругаться стала, так и бросил.

Соболевский вдруг обрадовался.

— Да это же ерунда — на построение! Заходи ко мне, я тебе в пять минут объясню...

У Бурцева блеснули глаза.

— Я и сам думал тебя попросить, да больно ты человек занятой, Петр Иванович... Изобретения твои государственных размеров, отрывать не хочется.

— Ну вот еще... Обязательно заходи. Когда придешь? Сегодня можешь? Часиков, этак, в девять...

— Не помешаю?

— Вот чудак, я же говорю тебе — приходи. Учебник только не забудь, а то у меня этих учебников не осталось.

— Возьму. Ладно, спасибо, Петр Иванович.

Они уже приближались к шахте.

— Так я буду ждать тебя, Евгений Степанович. Слышишь? Знаешь, где я живу?.. Или нет, приходи-ка лучше сюда, на шахту, прямо в мой кабинет. А то я могу засидеться...

— Есть, на шахту, — улыбнулся Бурцев. — По-моему, напрасно тебе и комнату давали. Ты же тут днюешь и ночуешь.

— А тебе откуда известно?..

Но Бурцев только рукой махнул. Соболевский с минуту постоял у входа, глядя ему вслед: замечательный парень, редкий! Какие же есть люди...

Дверь с табличкой «главный механик» всегда открывалась туго. Что-то с замком. Он вечно собирался вынуть этот замок и посмотреть, но никогда руки не доходили. Возясь с ключом, Соболевский снова вспомнил, сколько раз откладывал это пустяковое дело, и подумал:

«Вот не буду больше откладывать, сейчас же и поправлю».

Но тут же оборвал себя:

«Стоит ли? Может, завтра меня уже не будет в этом кабинете?»

Впервые он отдал себе отчет, что его и в самом деле могут убрать с шахты. У-во-лить... Выгнать! А комбайн? Ярость вновь поднялась в нем. Он, наконец, повернул ключ и, рванув дверь, очутился в комнате.

2

В дверь заглянул Самохин. У него было несколько смущенное лицо.

— Петр Иванович, тебя не было... Звонили из горкома. Вызывают сегодня на девять вечера.

— Меня одного?

— Нет... Тебя, Зуева, Крюкова и меня... Это, видимо, в связи с твоим сегодняшним конфликтом.

— Оч-чень хорошо!

Соболевский повернулся на каблуках и прошел из угла в угол. Самохин молчал.

— Ну, а ты... На чьей же ты будешь стороне, парторг?

Самохин отвел глаза.

— В сегодняшнем конфликте — не на твоей.

— А ты знаешь, в чем заключался этот сегодняшний конфликт?

— Я знаю, что ты непозволительно кричал и оскорбил начальника шахты.

— А он своим присутствием на шахте оскорбляет самые принципы социалистического производства!

Лицо Самохина стало напряженным. Он ответил:

— Слова!

— Ничего не слова. Он карьерист и заячья душа.

— Такие обвинения нельзя бросать голо-словно, Петр Иванович.

Самохин сказал это резким тоном, но тут же вынул папиросы и протянул Соболевскому. Это должно было подчеркнуть, что лично он, Самохин, против главного механика ничего не имеет.

Соболевский машинально взял папиросу, чиркнул спичкой и закурил, забыв предложить огня парторгу.

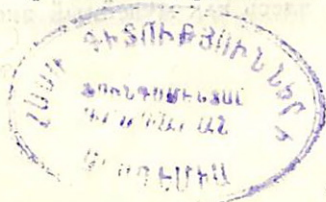
— Голословно, говоришь? Я докажу, будь спокоен.

Он несколько раз затянулся. Самохин молча наблюдал за ним. Что и говорить, Соболевский куда симпатичнее Зуева! Вот какие ясные глаза! А лоб какой хороший: чистый, высокий. Но лоб и глаза не доказательство. Необходимо разобраться, который прав. Говорит Зуев — прав как будто он: нельзя же в самом деле вкладывать сотни тысяч рублей в эксперимент! Настоящих, больших испытаний комбайн Соболевского не прошел. Научно-исследовательский институт тоже еще не дал официального заключения. А Соболевский требует — шутка ли сказать! — чтоб проходили трехсотый горизонт его комбайном. Выходит, проходить горизонт ради проверки его изобретения? Да пускай он трижды лауреат, пускай он архиталантлив, но это одержимость изобретателя...

В комнате сгустились сумерки. Не зажигая света, Соболевский подошел к креслу, на котором сидел Самохин.

— Слушай, парторг, — сказал он задумчиво и мягко, — я ведь знаю, что ты не веришь в легенду о моем авантюризме...

— Конечно, не верю, — поспешно подтвердил Самохин, пораженный дружеским тоном Соболевского.



— Но вот... — Соболевский присел на ручку кресла и, приблизив лицо почти вплотную к лицу Самохина, заговорил страстно и убежденно. — Зуев думает, мне нужна слава, почести, всякие побрякушки... Черт с ним, со всем этим. Я знаю, понимаешь, знаю, что комбайн пойдет... Только комбайн и может нам дать этот трехсотый горизонт. Говорят: уголь, уголь, уголь! Да вот же он — уголь, берите! Ведь это же дешевле и быстрее выйдет, чем закрывать нашу и закладывать новую шахту...

— Положим, если работать открытым способом, — неуверенно возразил Самохин.

— А где на нашем руднике можно работать открытым способом? Нет для этого условий! — Соболевский снова начал кипятиться. — Это только Зуев умеет заниматься такой болтовней. Ведь это же чистая демагогия. Конечно, открытый способ дешевле, скорее! Но ведь нельзя, негде тут строить разрез. Спроси геологов, если сам не понимаешь. Я Зуева наизусть знаю: пять лет в институте, восемь — здесь... Да черт с ним, с Зуевым. Уголь нужно давать. Конечно, вскрывать новый горизонт всегда хлопотно... Мало ли какие могут возникнуть препятствия? Можно, чего доброго, сразу и плана не выполнить... Зуев этого до смерти боится. Ему — только план! Дальше сегодняшнего плана он ничего не видит. Ты слышал о моей буросбоекной — как ее внедряли? Силой, силой пришлось... Она здесь как музейный экспонат стояла.

Образцы да пышные резолюции — вот это наш Зуев любит. Чтоб пыль в глаза! А как до дела...

Соболевский вскочил и опять пробежался несколько раз по диагонали комнаты.

— Я не знаю, Петр, — тихо начал Самохин, — ты и меня пойми. Я здесь человек новый, пришел прямо из армии; всю войну там пробыл и после войны почти три года. А перед войной я только кончил горный техникум и получил назначение на шахту. Доехать тогда не успел, не то, что поработать. А теперь меня послали на ту же шахту, на партработу... Приезжаю, и сразу попадаю в склок...

— Тут склок нет, — хмуро буркнул Соболевский. — Тут люди за правое дело дерутся. А что ты в армии делал?

— Сначала рядовым сапером был. Потом получил звание, опять в саперном подразделении воевал. Потом ранило... Девять месяцев по госпиталям скитался, хотели уволить вчистую, да я упросил оставить хоть на нестроевой... Вот, с начала сорок четвертого работал в штабе полка...

— Ну и прекрасно, значит, должен людей понимать.

— Людей я, может, и понимаю, хотя там все это проще было. Хорошо ведет себя в бою — значит коммунист... Но я здесь самого дела не понимаю! Я что и знал — забыл, — признался он.

— Разберешься, — махнул рукой Соболевский, — разберешься, вспомнишь, это все пустя-

ки. Сейчас самое главное для тебя—занять правильную позицию. Если ты пойдешь на поводу у Зуева...

— Я ни у кого на поводу ходить не собираюсь, — обиделся Самохин.

— А тут середины нет. Или с ним или против него.

— Тебе так кажется?

Самохин уже жалел о своей откровенности и потому постарался придать ироническое выражение вопросу. Он мучился, не понимая, кто прав. Вот — Соболевский.. Ведь, буквально же насилует своей убежденностью!

— Мне не кажется, я знаю. И ты в этом убедишься. Только как бы поздно не было...

Соболевский задумчиво произнес последние слова.

— Не пугай, пожалуйста.

Голос Самохина прозвучал очень сухо. Кажется, этот одержимый вздумал еще и грозить?

Соболевский вдруг обозлился: опять извращают каждое его слово.

— Я не пугаю, а предостерегаю.

— Понятно, — холодно сказал Самохин и встал с кресла. — Так, значит, помни: в девять ноль-ноль в горькоме.

Он вышел не прощаясь, и Соболевскому вдруг стало невыносимо тоскливо. Вот, хотел по-человечески, по-честному поговорить... Ничего не получается. Неужели же комбайн, который может прогрызть толщу угольного пласта, не

пробьет стены человеческого недоверия? Подумав так, Соболевский поморщился: сравнение показалось ему напыщенным.

Совсем стемнело. Соболевский повернул выключатель. Яркий свет больно резнул ему глаза. Прикрыв веки, он опустил в кресло.

— Надо же подготовиться, — лениво подумал он, но не шелохнулся.

В половине девятого дверь его кабинета тихонько скрипнула. Крюков спокойно спросил с порога:

— Вы готовы, Соболевский?

Он все еще сидел в кресле.

— Разве уже пора?

Ему показалось, что прошло всего несколько минут. Должно быть, он задремал.

Крюков достал часы.

— Половина девятого. Опаздывать не стоит. Идемте.

Тяжело поднявшись, Соболевский провел по лицу руками, как бы снимая сон.

— ...Что-то мне надо было сделать?

Он постоял в раздумье и не вспомнил.

— Потом сделаете. Вы без пальто?

— Какое же пальто в такую погоду?

Они вышли вместе, и тут только Соболевскому пришло в голову, что в общем Крюков поступил очень дружески, зайдя за ним. Он словно подчеркивал этим, что стоит на стороне Соболевского, хотя до сих пор между ними никаких особых отношений не существовало. Соболевский

даже считал Крюкова человеком суховатым и эгоистичным. А теперь вот они идут вместе.

— Это странно, что мы идем вместе! — вслух повторил свою мысль Соболевский.

Он думал о том, что за восемь лет жизни и работы на руднике не сумел завести себе не только жены, но даже хороших, надежных друзей. Всех, очевидно, отпугивал его необузданный нрав.

— Отчего же странно? Вызывали вместе, вместе и идем.

— Однако же вы не пошли с Зуевым?

— С Зуевым, видимо, пойдет Самохин.

— Значит, Самохин на его стороне?

— Нет, но Зуеву хочется, чтоб это выглядело так.

Соболевского поразил спокойный и точный ответ Крюкова.

— Слушайте, товарищ Крюков, а вы-то что обо мне думаете?

Крюков неопределенно пожевал губами. Это ему заменило улыбку.

— Выясняете возможных союзников?

— Хотя бы!

— Плохой вы дипломат, Петр Иванович. Разве это делается в лоб?

— Иначе не умею, — грубовато буркнул Соболевский.

Подобие улыбки промелькнуло на лице Крюкова.

— Знаю, уважаемый. Знаю и... ценю.

Соболевский подумал, что он зато совершенно не знает главного инженера. Был Крюков тогда, когда Соболевский дрался за бурсбоечную? Был. И вел себя, кажется, прилично. Во всяком случае, палок в колеса не ставил. Потом... Да, да, несомненно, он даже помогал потом внедрению этой машины. Но как-то очень тихо, незаметно, все время оставаясь в тени. Другие кричали, что с первой минуты были «за», а Крюков молчал. А ведь именно его стараниями бурсбоечная попала и на пятый, и на одиннадцатый участок... Это точно.

— Стараетесь сообразить, что я из себя представляю?

Вопрос застал Соболевского врасплох.

— Нет, почему же?.. А, впрочем, да, стараюсь.

— Спасибо за откровенность. Могу отплатить тем же. Я не герой, но и не перебежчик.

— Однако!..

— Хотите сказать, что между двумя этими крайними точками есть еще много градаций?

Соболевский снова удивился способности Крюкова точно формулировать чужие мысли. Но сказал он другое:

— Мне думается, героев у нас тут вообще нет.

— Ну как же... А вы сами? Чем вы не герой? Лезете в драку по всякому поводу, разоблачаете лень, равнодушие, бюрократизм.

Нельзя было угадать, говорит он всерьез или с иронией.

— Я не понимаю...

Крюков вдруг остановился, взял Соболевского за пуговицу спецовки, подергал ее, словно пробуя, крепко ли она пришита, и сказал совсем необычным для себя, душевным голосом:

— Вы сейчас не мучайте себя разными вопросами, все это потом выяснится. Сейчас вам надо вести себя спокойно и убедительно. Главное — спокойно. В горкоме истерик не любят.

— Слушайте, Платон Васильевич, сколько вам лет? — вдруг спросил Соболевский.

— Не так уж и много, — усмехнулся Крюков, — сваха у Островского сказала бы: мужчины в соку. Сорок пять.

Здание горкома показалось из-за угла.

— Пришли, — невесело сказал Соболевский.

— Пришли, — спокойно подтвердил Крюков. — Ну, ни пуха вам ни пера, как говорится.

Он толкнул дверь и пропустил первым Соболевского, а затем, доставая на ходу партбилет из какого-то далекого кармана, вошел сам.

3

О секретаре горкома Уткине разные люди отзывались по-разному, но никто и никогда не обвинял его в непродуманности решений. Он умел разбираться в людях, в обстоятельствах, в

событиях и побуждениях. На этот раз, однако, Уткину было действительно нелегко понять, на чьей стороне правда.

Весь вечер посвятил Уткин разбору дел на шахте «Капитальная». Закрывать шахту или начинать проходку трехсотого горизонта? Зуев многие годы работал начальником шахты, знал ее досконально и все-таки утверждал, что «Капитальная» выработалась, с цифрами в руках доказывая нерентабельность работ на нижних горизонтах, особенно в условиях «Капитальной». Что, кроме деловых соображений, могло привести Зуева к этой точке зрения? Доводы его были как будто продуманы и серьезны. Он вооружился отзывами серьезных специалистов и собственным анализом положения.

Но главный механик возражал ему. Их спор давно вышел за рамки шахты. Соболевского ценили на руднике. Однако на этот раз доводы Соболевского были куда более шаткими, чем доводы Зуева. Ни цифр, ни заключений ученых, ни общенного анализа. Собственно, на стороне главного механика была только его фанатичная вера в свой комбайн и в возможность проходить трехсотый горизонт именно этим комбайном. И, конечно, он не зря напоминал сегодня, что три года назад Зуев почти так же сопротивлялся внедрению его бурсобоечной машины.

Прикрыв рукой глаза, Уткин терпеливо слушал сначала негромкий журчащий голос Зуева, потом нервную, обрывистую речь Соболевского.

Иногда он жестом останавливал говорившего и задавал какой-нибудь вопрос парторгу Самохину. Но Самохин упорно отмалчивался или отделивался малозначащими репликами.

Уткин, наконец, потерял терпение.

— Мне кажется, все-таки, что мы не на дипломатической конференции, — жестко сказал он, — и вам, парторгу, надо бы иметь собственное мнение.

— Я еще не вошел в курс дел, товарищ Уткин, — с трудом признался Самохин.

— Долгонько разбирается, — недовольно возразил Уткин.

Зато главный инженер Крюков сразу занял ясную позицию.

— Считаю необходимым, — объявил он, — проходить трехсотый горизонт всеми имеющимися в современном горном деле средствами, в том числе и проходческим комбайном Соболевского.

Затем он деловито и коротко обосновал свое суждение.

Больше выслушивать было некого. Перешли ко второму вопросу: о взаимоотношениях начальника и главного механика шахты.

Самохин неожиданно взял слово:

— Соболевский зазнается, не терпит возражений, не признает производственной дисциплины, груб со всеми. Это распушенность.

Зуев очень скромным тоном, который должен был показать его объективность, рассказал утренний инцидент. Он не отступал от фактов,

но излагал их таким образом, что история получилась более скверной, чем была на самом деле. Соболевский слушал с упрямо опущенной головой.

— Правду он говорит? — повернулся к нему Уткин, когда Зуев сказал, что Соболевский швырнул в него стулом.

— Нет, — внятно ответил Соболевский, — я отшвырнул стул, попавшийся мне на дороге, и он полетел.

— В Зуева?

— Почему в Зуева? На пол.

— Продолжайте, — сказал Уткин Зуеву.

Тот наскоро dokonчил свое сообщение:

— Затем он начал кричать, оскорблять меня, как человека, как коммуниста и как руководителя предприятия. Тогда мне пришлось попросить его удалиться.

— Это было? — спросил Уткин, снова повернувшись к главному механику.

— Было, — сквозь стиснутые зубы выдавил тот.

— Чем вы объясните свое поведение?

Соболевский встал, задыхаясь от волнения:

— Я, конечно, виноват, но не настолько, чтобы.... — начал он и вдруг отчаянно махнул рукой. — Виноват! А оправдываться не к чему.

— Успокойтесь, — с легким неудовольствием сказал секретарь и пододвинул к главному механику графин с водой.

С кресла неторопливо поднялся Крюков.

— Разрешите? — вежливо осведомился он и, дождавшись кивка Уткина, не спеша заговорил. — Трудно и даже немыслимо, я бы сказал, защищать или оправдывать недисциплинированное поведение подчиненного по отношению к его начальнику. Я считаю лишь необходимым напомнить следующее: во-первых, товарищ Соболевский человек чрезвычайно вспыльчивый и темпераментный. В споры по деловым вопросам он всегда вносит исключительную страстность, не соглашаясь ни на какие компромиссы. Я сказал бы, что в этом вообще сказывается свойственная ему принципиальность. Это — во-первых. Во-вторых, товарищи Соболевский и Зуев — однокашники по институту, у них в отношениях, естественно, сохранилась известная студенческая фамильярность, и это, видимо, обострило сегодняшний печальный инцидент. В-третьих..

Он сделал паузу, как бы еще раз взвешивая то, что хотел сказать:

— В-третьих, — лицо Крюкова приобрело холодное и равнодушное выражение, — в-третьих, я должен констатировать, что на производстве товарищи Зуев и Соболевский — диаметрально противоположные люди. Соболевский готов каждый день вносить новое, экспериментировать, ломать принятую технологию, рисковать. Зуев же, наоборот, видит главное благо только в выполнении раз навсегда установленного порядка.

— Иначе говоря, — живо перебил его Уткин, — Зуев, по-вашему, недальновиден, а Соболевский, так сказать, прирожденный новатор?

Крюков прищурился и уже совершенно ледяным тоном ответил коротко:

— Да.

Необходимо было прийти к какому-то заключению. Закрывать или не закрывать шахту? Собственно, это не зависело от горкома. Решать предстояло министерству. Но мнения городского комитета партии спросит обком. И обком на основе этого мнения будет составлять свое суждение, которое сообщит министерству.

Отпустив всех вызванных, Уткин долго сидел в своем кабинете, подперев руками голову. Выступление Крюкова было для него неожиданным. Немолодой человек и молодой коммунист (Крюков стал членом партии в годы войны), он до сих пор представлялся Уткину знающим, очень добросовестным специалистом, но человеком замкнутым в узкий круг профессиональных интересов, не более. Сегодня он обнаружил такую проницательность, которой никак не ждал Уткин от этого всегда слегка замороженного инженера.

Но, пожалуй, именно выступления Крюкова и нехватало Уткину для того внутреннего решения, которое искал в себе секретарь горкома. Он думал, правда, что поможет ему Самохин. А вместо этого, видимо, придется помогать парторгу..

Что же, однако, делать с шахтой? Старушка «Капитальная» выработалась за сорок лет своей жизни. Закрывать? Или спускаться еще на один горизонт — на глубину трехсот метров? Зуев утверждает, что он принципиальный противник глубоких горизонтов: они, дескать, в конечном счете нерентабельны. Но если комбайн Соболевского действительно таков, как утверждает сам этот неугомонный человек, то проходка трехсотого горизонта становится рентабельной. Вот ведь и Крюков — за. Конечно, прежде чем решать окончательно, надо еще и еще посоветоваться с другими специалистами, но пока что...

Непрерывно и настойчиво зазвонил угольный телефон, как его называли в просторечье. По этому телефону комбинат без услуг междугородней разговаривал из Кемерово со своими трестами. Такие же аппараты стояли у секретарей горкомов. Уткин поднял трубку. Звонок задрезжал в самое ухо.

— Слушаю, слушаю же! — раздраженно сказал секретарь.

— Здорово! — тотчас отозвался знакомый голос начальника комбината. — Извини, что беспокою, Иван Сергеевич, но мне передали, будто ты вызвал к себе всю «Капитальную». Зуев у тебя?

— Ушел. Все ушли.

— А, чтоб их!.. Надо решать вопрос с трехсотым горизонтом. Ты по этому поводу их вызывал?

— По этому.

— Ну и как? Договорились до чего-нибудь?

— Договориться трудно. Зуев и Соболевский упорно стоят каждый на своем.

— Ну, ясно. А у тебя какое мнение складывается?

— Видишь ли... — Уткин помедлил, выбирая слова. — Зуев обосновывает свою точку зрения гораздо убедительнее Соболевского, но... я склоняюсь к тому, что шахту закрывать не надо.

— Представь, я тоже... — радостно сказал начальник комбината. — Воюю тут со своим главным инженером. Зуев его прямо околдовал. А мне нравится ваш неугомонный изобретатель. Голова у него варит.

— Да, толковый человек, — с удовольствием подтвердил Уткин. — Но с Зуевым у них там чуть не до драки доходит.

— Э-э! — беспечно возразил начальник комбината. — А вы, горком, на что?!

Они поговорили еще несколько минут и повесили трубки с ощущением хорошо и правильно решенного дела.

Только выйдя из горкома, Соболевский вспомнил, что на девять часов назначил встречу Бурцеву. Чувство острой досады на самого себя тотчас усилилось у него до крайности: по-свински подвел человека и даже записки не догадался ему оставить! Не замечая Крюкова, который шел рядом, Соболевский вдруг ускорил шаг. Крюков удивленно окликнул его, но главный ме-

ханик почти бегом завернул за угол. Там, за поворотом, начинался поселок.

«А если зайти к Бурцеву домой?»

Он никогда не был у него на квартире, но знал дом. Два окна в первом этаже были освещены. Те или не те?

Подобравшись к самому окошку, Соболевский осторожно постучал в стекло. За занавеской шевельнулась какая-то тень. Соболевский постучал еще раз.

— Сейчас, — донесся до него приглушенный голос Бурцева.

— Угадал! — по-мальчишески обрадовался инженер.

Они просидели почти до утра, сначала решая задачи на построение, а потом разговаривая о шахте.

— Неужели закроют? — трепетно спросил Бурцев.

— Ну, а какая тебе разница? Ты и проходчик, ты и машинист врубовки. Да тебя же на самую лучшую шахту заберут!..

— Странно вы рассуждаете, Петр Иванович, — тяжело краснея и переходя «на вы», сказал Бурцев. — Будто я о себе беспокоюсь! Да у нас любого завалящего подметалу через пять минут отхватят — люди везде нужны. Разве об этом речь?

— А о чем же еще? — Соболевский явно подтрунивал, но Бурцев сердился.

— Речь о шахте «Капитальная» в государственном, так сказать, значении, — серьезно ответил он, — и не только тебе, Петр Иванович, интересно об этом думать. Конечно, ты инженер, изобретатель...

— Да помилуй, Евгений Степанович! — смутился Соболевский.

— А вот не помилую... — вдруг засмеялся Бурцев.

Он помолчал и, понизив голос, хотя в комнате никого не было, договорил:

— Ты думаешь, Петр Иванович, зачем я над этими задачками голову ломаю? Зачем вообще взялся за учебу? Я давно решил: если будут проходить трехсотый горизонт твоим комбайном, — попрошусь в рулевые. Возьмешь? — перебил он сам себя.

— Еще бы!

— Вот-вот, я так и думал. Ну, а комбайн твой — механизм сложный и новый. Он так просто не пойдет. Обязательно капризы будут.

— Почему это? — обидчиво спросил Соболевский.

— А потому, что и он к нам еще не привык, и мы к нему не приноровились, — спокойно ответил Бурцев. — Будут капризы, не надейся на другое. Но если меня возьмут в рулевые, не могу же я на этом комбайне поугаю сидеть?

— Как это поугаю? — не понял Соболевский.

— А так: что показали, то и умею, а сам ни-ни. Нет, я хочу сесть на этот комбайн так, чтоб уж ни одного винтика не оставить без внимания. Может, придется что усовершенствовать или изменить...

Наивная искренность, с которой были произнесены эти слова, поразила Соболевского.

— Усовершенствовать?!

— А как же? — с той же искренней убежденностью подтвердил Бурцев. — Ум хорошо, а два — лучше.

4

После разговора в горьком можно было ожидать, что Зуев резко изменит свое подчеркнутое уважительное отношение к Крюкову. Но к глубочайшему изумлению Самохина, внешне все осталось попрежнему. Как всегда, Зуев по утрам приглашал к себе Крюкова и обстоятельно обсуждал с ним события прошедших суток. Как всегда, советовался в затруднительных случаях, как всегда, прислушивался к мнению главного инженера. Только однажды, когда из-за какого-то пустякового упущения на шахте нарушился график цикличности, Зуев, оставшись наедине с Крюковым, как бы мимоходом сказал:

— Можете упрекать меня в педантичности, дорогой Платон Васильевич, но пока я руковожу шахтой, график здесь закон! За этот сорт консерватизма я готов отвечать перед кем угодно.

— Совершенно с вами согласен, — невозмутимо согласился Крюков.

В конце сентября по разверстке Министерства трудрезервов из Подмоскovie на рудник прибыла группа только что выпущенных машинистов врубовых машин. Зуев отсутствовал: его вызвали в Кемерово к начальнику комбината. Крюков, замещавший начальника шахты, пригласил к себе парторга.

— Что будем делать с этими ребятами? — спросил он Самохина, когда тот переступил порог кабинета.

— То-есть как это — что? — удивился Самохин.

— Если шахту закроют, они нам, по совести, совершенно не нужны, — главный инженер, прищурившись, глядел на парторга.

— Видите ли, товарищ Крюков, — с неожиданной горячностью сказал тот, — я считаю, что закроют или не закроют шахту, но работать мы обязаны в полную силу. И потом, — он слегка замялся, — я надеюсь, что в министерстве решат в нашу пользу...

Крюков зорко поглядел на парторга.

— Разбираетесь, значит, понемножку? — вдруг спросил он.

— Начинаю, как будто, — неуверенно ответил Самохин, отчетливо вспомнив интонацию, с какой Уткин на горкоме бросил ему свою недовольную реплику: «Долгонько разбираетесь».

— Это хорошо, что вы не торопитесь, — с необычной мягкостью сказал Крюков. — Скоро-спелые умозаключения никогда к добру не приводят. Надо ведь и людей и дела досконально понять...

Они помолчали.

— Да, — тихо сказал Самохин. — да... Но трудное это занятие — разбираться...

— Ну что ж, — наклонил голову Крюков, — легкого на свете вообще немного... Так вот, — после короткой паузы добавил он, возвращаясь к тому будничному и деловому, что привело Самохина к нему в кабинет, — до возвращения Зуева мы этих приехавших врубмашинистов трогать не будем, только попрошу вас лично проследить за тем, как их устроили.

— Хорошо, прослежу, — сказал Самохин и встал.

Ему очень хотелось, чтоб Крюков сказал на прощанье нечто вроде: «Ну, заходите в другой раз — еще потолкуем!», но главный инженер уже взялся за трубку телефона. Наступал час, когда с участков сообщали сводку выполнения суточного плана.

На следующий день Самохин отправился в молодежное общежитие, где разместил и приехавших. Он и раньше бывал здесь, но теперь с особой придирчивостью рассматривал одинаково, как в казарме, расставленные топчаны и застеленные газетами тумбочки.

«Эх, скучно, скучно все это выглядит», — с досадой думал парторг, открывая двери спален.

Комендант почтительно следовал за ним.

— А где же все новенькие? — спросил Самохин.

— Да в красном уголке, — недовольно ответил комендант, — такие, товарищ Самохин, требовательные. Я им говорю, красный уголок только вечером открываем, а они как с ножом к горлу: давай ключ, и все!

— Ну и правильно, — рассеянно сказал парторг.

В красном уголке, возле покрытого кумачом стола с журналами, оказалась небольшая кучка ребят. Открывая дверь, Самохин услышал задиристый мальчишеский голос:

— ...дыра, а не рудник. У нас в Мосбассе любая самая маленькая шахта куда механизированнее...

— Тише, — предостерегающе сказал кто-то, заметив входившего Самохина.

По привычке, усвоенной в ремесленном училище, при появлении взрослого все встали.

— Здорово, товарищи, — чуть громче, чем следовало, сказал парторг. — Значит, дыра, а не рудник?

Ребята переглянулись.

— Ну что же, — спокойно сказал высокий черноглазый паренек и пожал плечами, — если вы слышали... Конечно, шахта старая, вырабо-

танная, механизмов мало. Зачем только нас присылали?

— Торопишься, торопишься, — покачал головой Самохин, — ты же шахты еще не видел?

— Слухом земля полнится, — отворачиваясь, возразил другой, с задорным веснушчатым лицом.

— А ты слухам не верь, — посоветовал парторг.

— А вы начальник шахты будете? — спросил высокий, черноглазый.

— Нет, начальник в командировке, он придет дня через три. Я парторг шахты, фамилия моя Самохин, зашел поглядеть, как вы тут устроились, — вразумляюще, как маленьким, объяснил Самохин.

— Устроились ничего, спасибо, — мимоходом сказал за всех веснушчатый парнишка, — а вот хотелось бы слышать насчет работы...

— Начальник приедет — решит. Да вы пока бы город посмотрели... В клуб можно сходить.

— В клуб? А библиотека там есть? — оживился черноглазый...

Остальные молчали.

— Есть библиотека, есть... Ты какие же книги больше любишь?

— Нет, тут вот что, — опять вмешался веснушчатый, и Самохин заметил, что другие с интересом прислушиваются к нему, — тут такое дело... Мы по дороге, в поезде, видели один журнал. «Техника молодежи» называется. И в

нем статья «Штурм угольного пласта». Найдется в вашей библиотеке, как думаете?

— Найдется, наверное, — стараясь говорить уверенно, сказал Самохин. — А что вам так в этой статье понравилось?

Ребята переглянулись.

— Ну, объясняй.

— Почему — я? Сам объясни.

— Видите ли, товарищ парторг, — вежливо сказал черноглазый, — там написано про новые механизмы. Например, комбайн Макарова. Буросбоечная машина. Скребковый транспортер. Ну, мы и заспорили насчет этой буросбоечной...

— А у нас на шахте работает ее изобретатель, — вдруг почти обрадованно сказал Самохин, — главный механик шахты Соболевский.

— Ну, правда? — оживились ребята.

Веснушчатый мечтательно сказал:

— Хотел бы я на буросбоечную!

— Как твоя фамилия? — спросил Самохин.

— Кушевский, Валентин, — ответил парень и тотчас снова вернулся к своим мыслям: — А можно, все-таки, попасть на буросбоечную, товарищ парторг?

— Посмотрим.

— Как же это, сам Соболевский здесь, а механизмов на шахте мало? — задумчиво удивился черноглазый.

— Да кто тебе сказал, что мало? — вдруг разозлился Самохин. — Вот скоро пустим его новое изобретение, проходческий комбайн...

— Что, что?!

Ребята повскакали с табуреток, на которых сидели, и обступили Самохина. Он стоял, оглушенный их громкими, возбужденными голосами, удивляясь тому, что так решительно сказал про комбайн: «Пустим».

Из общежития Самохин возвращался поздно. Ребята долго не отпускали его. Шагая по улицам поселка, он мысленно перебирал впечатления вечера. Как это вышло, все-таки, с комбайном? Как могло получиться, что он, Самохин, вдруг оказался в роли решительного сторонника и комбайна, и самого Соболевского? Когда он успел сделать выбор? Не тогда ли, когда сидел над техническими книгами и журналами, стараясь постигнуть новейшие течения в горняцкой технике? Или, быть может, лазая по шахте, знакомясь с людьми, выслушивая их тревожные расспросы о трехсотом горизонте? Или, наконец, на экспериментальном участке, куда он ездил вместе с самим Соболевским? Нет, не мог Самохин ответить, когда же пришло к нему решение.

Но, думая об этом, он испытывал именно то радостное и уравновешенное душевное спокойствие, какое дается человеку только после правильного решения трудной задачи.

В конце октября наступили морозы. Первый снег сразу лег ровным и крепким покровом. Соболевский, который не любил кузбасской осени с ее липкой грязью и бесконечными дождями,

проснулся утром с чувством безотчетной радости: за окном все побелело и принарядилось.

«Хороший день», — подумал он, и его, как в детстве, потянуло на улицу.

Одеваясь, он то и дело поглядывал в окно.

— Надо будет этой зимой непременно на лыжах походить, а то совсем стариком стал...

За стеной по радио громко заиграли какой-то марш.

— А что, если съездить на экспериментальный участок?

Экспериментальным назывался участок, отведенный научно-исследовательскому институту для опытов. Там опробовались все новые механизмы рудника, а иногда и бассейна. Там находился и комбайн. Соболевский еще вчера решил, что надо проверить, не слишком ли высоко поднято место рулевого.

Как всегда, свидание с комбайном (Соболевский с насмешечкой называл так свои поездки на участок) взволновало и расстроило его. Комбайн стоял неподвижно и был слишком новый, слишком нетронутый, чтобы нравиться Соболевскому.

В воображении этого человека все шахты были населены многими, еще даже и не рожденными механизмами, и, конечно, его комбайн давно должен был начать напряженную, трудовую жизнь. Глядя на неподвижную крестовину, Соболевский отчетливо видел, как она вращается, разбуривая забой. Вот уже образовалась широ-

кая — в два с половиной метра диаметром — круглая дыра, и комбайн уходит в нее все глубже и глубже. Пришли в движение и торопливо, словно боясь не поспеть за ходом машины, заработали черпаки, подхватывая измельченный крестовиную уголь. Эти черпаки действуют, как умелые и сильные руки. Ритмично, надежно, неустойчиво перегружают они подхваченный уголь через вспомогательный лоток прямо на транспортер, и ребристые, блестящие куски угля плывут из только что пройденного комбайном тоннеля в вагончики, которые с отчаянным звоном подгоняет своим электровозом смеющаяся Зиночка. А комбайн, похожий одновременно на гигантскую черепаху и на модель танка, упрямо уходит все дальше и дальше, железными зубами прокладывая себе ход в толщу земного шара.

Соболевскому представлялось все это, едва лишь возникали перед ним знакомые очертания его комбайна. Может быть мать, укачивая ребенка, так же видит в его сморщенном, плаксивом личике черты далекого вдохновения и мужества, которые когда-нибудь прославят ее дитя?

Стоя рядом с неподвижной машиной, Соболевский почти осязательно переступал порог прекрасного «завтра».

«Им, — думал тогда он, — будет так же интересно работать, как было мне интересно и радостно проектировать этот комбайн».

Если бы его спросили: кому это «им»? — он, вероятно, затруднился бы сразу ответить. Им —

это значило всем: и пришедшему позавчера из далекого алтайского села семнадцатилетнему парнишке, который, озираясь и бледнея, впервые заносит ногу в клеть; и Бурцеву; и старейшему забойщику рудника Сысоеву, для которого эта клеть привычна, как порог собственной квартиры.

Постояв у комбайна с мыслями о будущем, Соболевский вдруг вернулся к действительности.

«Эх, надо было позвать с собой Бурцева! — досадливо поморщился он, разглядывая место рулевого. — Евгений Степанович сразу сказал бы, надо опускать или можно оставить так?»

...Вернулся Соболевский с экспериментального участка настолько поздно, что идти на шахту уже не было смысла. Ему вдруг захотелось, чтобы в доме его так же светились окна, как у Бурцева.

Но он твердо знал, что в его окнах темно.

— Куда же пойти?

Постояв в раздумье на перекрестке, Соболевский медленно и лениво побрел к клубу. Под качавшимся на ветру огромным электрическим фонарем размалеванный плакат оповещал о вечере танцев. У входа, поджидая кого-то, нетерпеливо прохаживался взад и вперед техник Курнашев в пестром галстуке.

— Повесил бы я этого завклуба за его вечные танцы! — хмуро буркнул вместо приветствия Соболевский.

— Что это вы какой скучный, Петр Иванович? — удивился Курнашев. — С вас нынче причитается, а вы...

— Почему причитается?

— А как же? Ваша все-таки взяла!

— Какая моя?

Соболевский с искренним любопытством посмотрел на Курнашева.

— Бросьте секретничать, Петр Иванович, все равно вся шахта знает!..

Зиночка, неожиданно появившись в круге света, который отбрасывал фонарь, мягко взяла Соболевского за рукав.

— Зинка, что ж ты опаздываешь! — накинулся на нее Курнашев.

— Зиночка, — одновременно с техником умоляюще сказал Соболевский. — Какие секреты?

— Господи! Да где же вы были?

Зиночка всплеснула руками и, счастливая тем, что ей первой удастся сообщить такую важную новость Соболевскому, торжественно объявила:

— Есть министерский приказ вскрывать трехсотый горизонт.

— Зина! Кто вам сказал?!

— Все говорят, я не знаю...

Она растерянно оглянулась.

— Ладно, — грубовато оборвал Соболевский, — хотел бы я знать, где сейчас Крюков?

Он думал вслух, не ожидая ответа. Но Курнашев неожиданно ответил:

— Минут за пять до вас, Петр Иванович, он вошел в клуб.

— Крюков? В клубе? На вечере танцев? Вы спутали.

— Ничего не спутал, — обиженно сказал Курнашев, — я даже поздоровался с ним.

— Может, он вас ищет? — робко сказала Зиночка.

— Ох, умница!

Соболевский легко взбежал по ступенькам и толкнул дверь. В раздевалке было полно, гардеробщицы уже не принимали пальто. У дверей, ведущих во внутреннее помещение, назревал скандал: билетерша не пропускала одетых.

— Я не на вечер, — через головы других крикнул Соболевский, — мне только человека найти...

— Всем вам только человека найти! Не пу-
щу... — билетерша заперла изнутри стеклянную дверь.

— Да я не... А, ч-черт!

Кто-то окликнул его сзади:

— Петр Иванович!

Он обернулся. Бурцев звал его с порога. Лицо у Бурцева было радостное.

— Где ты пропадал, Петр Иванович? С обе-
да тебя ищут...

— Ты слышал что-нибудь?

— Как не слышать! Самохин все участки из-бегал, тебя разыскивая...

— Да я уезжал в институт, на экспериментальном был. Кто видел приказ?

Бурцев, улыбаясь, развел руками.

— Сам понимаешь, я не начальник шахты. У Зуева, наверно...

Пока они разговаривали, входная дверь снова хлопнула, пропуская Курнашева, Зиночку и Самохина.

— Петр! — весело крикнул Самохин, — Петр! Доволен, черт?

— Да я ничего толком не знаю, — жалобно сказал Соболевский, — меня весь день не было. Говорят, Крюков здесь, так билетерша в пальто не впускает, а на вешалке столпотворение... Порядочки!

— Не злись, — все тем же веселым, приподнятым тоном сказал Самохин, — сейчас все устроим.

Он по-хозяйски постучал в стеклянную дверь:

— Это Самохин, впустите...

Билетерша чуть отодвинула занавесочку, закрывавшую стекло, и поспешно повернула ключ.

— Пожалуйста, пожалуйста.

Вслед за Самохиным, Соболевским и Бурцевым гурьбой ввалились все опоздавшие, хотя билетерша опять пронзительно кричала, что никого больше не впустит.

Втроем они повернули по коридору и тотчас увидели Крюкова, шедшего им навстречу.

— Нашелся, наконец, именинник? — спросил главный инженер, кивая Соболевскому.

Он вынул из внутреннего кармана пиджака вчетверо сложенный листок:

— Читайте.

— ...Применяя проходческий комбайн... — вслух прочитал Соболевский.

— Точно, точно, — многозначительно сказал Крюков.

Соболевский растерянно глядел на всех. Вот случилось то, чего он страстно и упорно добивался. Не надо больше бороться, спорить, доказывать. Так просто! Ему вдруг показалось, что все уже достигнуто. Что же делать теперь?

— Что же теперь делать? — неуверенно повторил он вслух.

— Теперь надо работать и работать, — ответил Крюков. — Так много работать, что трудно даже вообразить, сколько...

— Я готов, — радостно сказал Соболевский и сделал шаг к двери, как бы собираясь тотчас бежать работать.

— Да погоди ты, — остановил его Самохин, — завтра приедут из комбината, соберут инженерно-техническое совещание, и тогда начнем...

— А как же Зуев? — вдруг вспомнил Соболевский.

— Посрамлен и повергнут в прах, — усмехаясь отозвался Крюков.

— Я не про то... Нет, как он теперь будет? Неужели останется после всего на шахте?

— А почему же нет? — спокойно возразил Крисков. — Останется. Если все будет хорошо, с удовольствием пожнет лавры. А в случае неудачи будет говорить: «Я же предостерегал!»

Самохин попробовал изменить направление разговора:

— Ну, что будем делать, товарищи?

— По такому случаю стоит пивка выпить, — неожиданно предложил Крюков.

— Пиво?

Бурцев, о котором все забыли, подал голос:

— Здесь, в буфете, неплохое пиво.

— Что ж, — сказал Самохин, — если неплохое, — можно...

Оставив пальто в кабинете завклуба, они вчетвером вошли в буфет. Было пусто. Из зала доносилось мерное шарканье и старательная музыка самодеятельного духового оркестра.

— Та-та-та вальс... осенний сон... играет гармонист!.. — негромко подтянул оркестру Самохин, усаживаясь за столик.

Он был все в том же приподнято веселом настроении, с каким входил в клуб.

Пухленькая подавальщица в голубом платье и накрахмаленном белом передничке принесла четыре кружки пива.

— Значит, за трехсотый! — сказал Самохин, поднимая свою кружку.

— За трехсотый и за Петра Ивановича! — поправил Бурцев.

— Ну и верный же у тебя адъютант, Петр Иванович! — усмехнулся Самохин, подмигивая на Бурцева.

— А я не адъютант, — спокойно возразил Бурцев. — Я сторонник.

— Браво, — откликнулся Крюков, — Бурцев — сторонник, а Зуев — посторонник...

Он залпом выпил свою кружку и сразу заметно оживился.

— Каламбур или истина? — спросил Соболевский.

— Неважненький каламбур, Петр Иванович. Неважненький как по форме, так и по содержанию.

Бурцев мечтательно поглядел на Крюкова: .

— Какое слово: ка-лам-бур!.. Если б мне десять лет назад его сказали, я бы повторить не смог. Интересно это у нас получается...

Он запутался и умолк.

— Ну, ну? — подбодрил Соболевский.

— Нет, я так... Я вдруг вспомнил, как пришел на шахту.

— А ты разве не здешний, Евгений Степанович? — удивился Самохин.

— Как сказать: здешний или не здешний? За сорок километров отсюда моя родина. Деревня Седые кочки. Когда колхоз устраивали.

всего тридцать дворов насчитали... Маленькая деревенька и глухая.

— Ну и как же ты пришел? — спросил Со-
болевский.

— Да ничего особенного, — смутился Бур-
цев, — от нас многие уходили на рудники, ну
и я... Но только попал я в особенный день, вот
и запомнилось.

— В какой особенный?

— В этот день Конституцию в Кремле ут-
верждали. Я, конечно, слышал, да плохо тогда
разбирался. Шел на шахту пешком, очень за-
мерз. А пришел на рудник, тут — иллюмина-
ция, народ на улицах, и над воротами шахт
всякие лозунги. Мне даже показалось, что по-
года потеплела. Иду — читаю. Не помню уже,
какие были лозунги на других шахтах, а на
«Капитальной» помню: «Граждане СССР име-
ют право на труд»... Мне очень понравилось...
Я ведь шел и сомневался: найдется ли, мол, для
меня работа; а вдруг пошлют обратно... Ну и
так далее. А тут прямо написано: «Граждане
СССР имеют право на труд»... Я и вошел в эти
ворота.

— Весьма интересно, — сказал Крюков серь-
езным тоном, — то-есть даже чрезвычайно ин-
тересно. Прочитал, вошел и тотчас получил ре-
альное подтверждение — был принят на рабо-
ту...

— Здорово! — зажигаясь, воскликнул Со-
болевский.

Бурцев застенчиво и ласково улыбнулся.

— Да, я и говорю, что запомнилось... Потом много разного было. А вначале тут всякий народ околачивался, из раскулаченных, главное, слухи распускали: дескать, на шахте работать — заранее на себя крест поставить. А мне как-то сразу понравилось. То-есть — что понравилось? Конечно, тьма, сырость, труд тяжелый — нечему тут нравиться. Но как раз начиналась у нас механизация. Тогда отбойные молотки внедряли. Старики очень сопротивлялись, уверяли, что кайлой сподручнее. Дескать, кайла — она от тебя зависит, а тут — ты от молотка. Пришлось за молоток постоять. Наверно, Платон Васильевич помнит, как первый техминимум сдавали!

— Помню, конечно, — Крюков все с большим интересом поглядывал на Бурцева, — и молоток, и первые транспортеры, и первый электровоз...

— И первую бурсобоечную... — тихо подсказал Соболевский.

— Да, техника, техника, — немного легкомысленно, как казалось Соболевскому, подытожил Самохин, но следующая его фраза заставила главного механика насторожиться. — Передовая техника должна в корне менять сознание рабочего, не правда ли? А вы поглядите, товарищи... Я не о тебе и не о таких как ты, Евгений Степанович, — обернулся он к Бурцеву, — я о том, сколько все-таки еще у нас тем-

ноты, отсталости... Вот иду на днях вечером по поселку, уже почти к самой отработанной штольне подошел, вдруг окликает меня сзади какая-то женщина: «Товарищ парторг, куда?» Оборачиваюсь. Жена Степаненко, знаете его?

— Горного мастера? — спросил Бурцев.

— Ну да. Молодая ведь еще женщина, лет тридцати — не больше... Я ей отвечаю: «В старую штольню». — «Ой, не ходите! Разве вы не знаете, что про старую штольню говорят?..»

— А зачем ты на старую штольню ходил? — перебил Соболевский.

— Да так, — замялся Самохин. — А впрочем, чего скрывать? Хотел посмотреть, что там и как. Может, думал, есть возможность опять открытые разработки вести...

— Эх тебя Зуев запутал! — с неудовольствием сказал Соболевский.

— Да ладно, не попрекай, — мирно отозвался Самохин. — Давно всем ясно, что ты был прав.

— А я ведь думал, что ты из тех, кому только по приказу министра ясно становится, — не утерпел Соболевский.

— Перестаньте, Петр Иванович, — строго сказал Крюков. — Так что ж с женой Степаненко было?

— Ну вот, не ходите, мол, говорит. Спрашиваю: почему не ходить? А она вытаращила глаза и таким таинственным голосом: люди рассказывают, там черт поселился!

— Что, что? — захохотал Соболевский. — Черт в старой выработке?! Здорово!

— Нет, — очень серьезно возразил Крюков, — в старой штольне, я вам ручаюсь, черта не имеется. Черт у нас совершенно в другом месте существует...

— Существует?! — изумленно переспросил Соболевский.

— Ага, — все так же серьезно подтвердил Крюков, — вот теперь, попомните мое слово, он на трехсотый перекочет!..

— Платон Васильевич, дорогой, — протестующе закричал Самохин, — вы же хуже этой Степаненко!

— Обязательно перекочет, — невозмутимо повторил Крюков.

— Да это ж он меня имеет в виду! — вдруг сообразил Соболевский. — Ах, ч-черт...

— Видите? — чуть-чуть усмехнулся Крюков.

— А что ж, — развеселился Бурцев, — ведь тебя, Петр Иванович, на шахте многие, извини за слово, чертом зовут...

— Да погодите вы с шутками, — досадливо сказал Самохин. — Я ведь о серьезных вещах с вами советуюсь. Вы думаете, одна Степаненко в этого черта верит?

— Все это — мелочи.

— Не такие уж мелочи, — заспорил Самохин. — Ты, Соболевский, закопался в свои машины и не хочешь жизни видеть.

— Неужели этот дурацкий черт — жизнь?

— Вот именно, этот дурацкий черт и та косность, которая за ним стоит. Ты пойми, когда я собрался по старой штольне пройти, то решил позвать кого-нибудь из бывалых шахтеров... одному как-то...

— Страшновато? — иронически помог Соболевский.

— Неудобно, а не страшновато, дурень! Дороги же я там не знаю один, — рассердился Самохин.

— Ну ладно, ладно. Рассказывай дальше.

— Да больше и не о чем рассказывать. Никто из стариков итти не согласился.

— Так ты думаешь — это из-за черта?

— А по-твоему из-за чего?

— Ой, чудак! Не согласились потому, что делать там нечего и опасно из-за обрушений... По-настоящему говоря, каждую выработанную штольню надо обязательно засыпать. И эту тоже.

Самохин утвердительно кивнул:

— Я тоже об этом думал. Да и вообще закладка выработанных полей — она же позарез нужна. Сколько подземных пожаров... — он круто оборвал свои мысли. — Только машины такой нет.

— Нет пока, — согласился Соболевский, — нет, но будет!

Крюков с интересом посмотрел на него. У Бурцева в глазах мелькнуло мальчишеское ожидание, будто Соболевский мог вытащить из кар-

мана готовую новехонькую машинку. Самохин мечтательно прищурился:

— А ведь я поверил бы в эту машину, если бы ты за нее взялся.

Слегка смущенный, Соболевский залпом допил остатки пива в своей кружке и решительно поднялся:

— Все, товарищи. Танцевать мы, очевидно, не будем. По домам?

Попрежнему вчетвером они вышли на улицу.

— Хорошая ночь!

Бурцев, закинув голову, с удовольствием погладел на небо. Высокие звезды висели над рудничным городом, и голубая сибирская луна вылезла из-за шахтового копра. Земля под ногами была твердая и звонкая.

— До завтра, — попрощался Соболевский и легко пошел своим быстрым шагом по направлению к шахте.

— Я провожу тебя, Петр Иванович... — нагоняя его, сказал Бурцев.

Они пошли рядом не разговаривая. Нарушил молчание проходчик.

— Петр Иванович, ты сегодня на свой комбайн ездил?

— Ездил.

— Все в порядке, Петр Иванович?

— В порядке. А что?

— Нет, ничего. Теперь все должно быть в образцовом порядке. Теперь уж нельзя, чтобы какая-нибудь недоделка... Верно я говорю?

Соболевский замедлил шаг:

— Я сейчас о том же думал. Как ты угадал, Евгений Степанович?

Бурцев вздохнул:

— А я полагаю, что и Крюков сейчас о том же думает, и товарищ Уткин, и, конечно, Самохин...

— Почему Уткин? Он-то при чем?

— Да ведь коммунисты же, Петр Иванович! Помнишь клятву товарища Сталина: мы, коммунисты, люди особого склада... Дальше там про другое, но эти слова... Я их всегда вспоминаю, когда начинается что-нибудь новое и трудное...

5

Техническое совещание разработало подробный план действий. Зуев держался невозмутимо и деловито. В основу приняли график, предложенный Крюковым. Проходку трехсотого горизонта решено было вести сближаясь — от старой штольни к главному стволу и от главного ствола к старой штольне. Но комбайн Соболевского существовал пока только в единственном уникальном экземпляре. Поэтому начинать проходку предстояло с юга, от главного ствола, который кстати и пробивать на нужную глубину этажа было куда быстрее.

Соболевский, выполняя решение технического совещания, съездил на рудоремонтный завод,

чтобы заказать второй комбайн для северного крыла нового горизонта. На заводе твердо обещали, что к пятнадцатому января заказ будет готов. Соболевский вернулся на шахту довольный: все шло гладко. Вообще с момента получения приказа министерства Соболевский находился в том неизменно приподнятом настроении, когда человеку кажется, что он не ходит, а почти летает и что мир населен только улыбающимися, благожелательными друзьями. Он и сам заметно смягчился в обращении с окружающими. Даже Зуев не вызывал у него теперь раздражения.

— Такие тоже нужны, — снисходительно думал Соболевский. — Конечно, он ограниченный человек и не может, не умеет приподняться над повседневностью. Но исполнитель добросовестный и хороший хозяйственник...

Нет, в самом деле все шло гладко, и по намеченному плану тридцатого ноября экспериментальный образец машины должен был начинать проходку.

Двадцать пятого утром Соболевского вызвал к себе Крюков:

— Ну как, дружище, когда привезем вашу игрушку?

— Думаю, послезавтра, Платон Васильевич.

— Все проверили, все предусмотрели?

— Абсолютно все.

— Ну, я на вас надеюсь.

Крюков помолчал, сгибая и разгибая складной метр, который всегда торчал в кармане его спецовки.

— Вы чего-то не договариваете, Платон Васильевич?

— Нет, голубчик, не в том дело... Я просто хотел бы, чтоб все у вас было без сучка, без задоринки. Понимаете?

Соболевский вдруг вспомнил, как Бурцев говорил ему ночью: «Теперь уж нельзя, чтоб какая-нибудь недоделочка....» Взволнованный большим и глубоким чувством близости с этими столь разными и непохожими друг на друга людьми, он молча кивнул.

— Ну и ладно, ну и ладно, — успокоительным тоном дважды повторил Крюков. — А главное — спокойствие и уверенность.

— Спасибо, Платон Васильевич.

Соболевский встал, чтобы уйти.

— Кого наметили машинистами?

— Бурцева.

— Правильно, толковый человек. Но ведь одного мало?..

— Бурцев сказал, что сменщиков он сам будет учить. А на первых порах я с ним на пару начну...

— А вот это неверно, — щурясь, возразил Крюков. — Вы не должны сами водить комбайн. Вы главный механик, инженер. У вас другие обязанности.

— Но как же сделать?

— У нас еще пять дней. Сколько вам надо времени, чтоб обучить управлению опытных врубмашинистов?

— Ну два дня — от силы.

— Вот и займитесь сегодня же. Прошу вас, Петр Иванович, не откладываяте. Вам самому я разрешу вести комбайн только первые полчаса, понятно?

Едва Соболевский вышел из кабинета главного инженера, его перехватил Самохин.

— А ну-ка, ну-ка, зайди в партком, Петр Иванович... Мне Уткин звонил...

— Что такое? — спросил Соболевский, встревоженно поглядывая на Самохина.

— Да ты не волнуйся, ничего неприятного. Уткин интересовался, все ли у тебя проверено с комбайном? Я сказал, что все... Но потом уже сам подумал: а как с машинистами? Ведь с первого же дня надо четырех машинистов и четырех помощников. Так?

— Понимаешь, — смущенно сказал Соболевский, — я это как-то выпустил из виду. То-есть, Бурцева я уже давно обучил, возил его на экспериментальный участок... Управление вообще не сложное, опытный врубмашинист сразу поймет.

— Но ведь надо же подобрать хотя бы этих опытных?

— Мне Бурцев сказал, что сменщиков он сам подготовит...

— Бурцев — мужик крепкий, но все-таки лучше самому... Потом их кем-то заменить при-

дется, на прежних-то местах. Ведь это согласовать надо. Ладно, ты сейчас иди, а вечером, часов в пять, загляни еще раз. К тому времени и Бурцев на-гора выйдет.

Соболевский расстался с Самохиным удивленно взволнованный: вот как, оказывается, все заняты тем, что он готов был считать чуть ли не личным своим делом! Уткин, Крюков, Самохин, Бурцев... А директор рудоремонтного завода? А те рабочие, которые изготавливают сейчас второй комбайн? Пройдет еще неделя, и уже на штреке будут говорить обыкновенным тоном: «у нас на комбайне!»...

Воображение Соболевского, получив легкий толчок, немедленно развернуло дальнюю и увлекательную панораму. Уже не кустарные два комбайна, а машины серийного выпуска идут и идут на шахты рудника... Уже приехали механики с других рудников... Уже весь бассейн...

Он грубо оборвал самого себя:

«Лирический мечтатель! А о машинистах не подумал... Вот теперь изволь в пять дней подготовить кадры. Зуев будет прав, если не захочет снимать с врубовок лучших машинистов. Тогда что? Нехватает, чтоб из-за такой ерунды застряло»...

До вечера он занимался всевозможными очередными делами, но мысль о машинистах не покидала его. Ровно в пять часов Соболевский прибежал в партком. Самохина не было. Развер-

нув свежую «Правду», на месте парторга сидел Бурцев.

— Евгений Степанович, здорово! Самохина видел?

— Нет, не видел. Он вызвал меня, а зачем не знаю.

У Бурцева было безмятежное выражение лица.

— Как у тебя со сменщиками?

— Что как? — удивился Бурцев. — В порядке всё, работаем посменно.

— Не то! — Соболевский ощутил знакомый приступ раздражения, которое уже давно не посещало его. — Я о сменщиках для комбайна.

— А-а, — спокойно сказал Бурцев, — для комбайна сменщиков я наметил. Пока, значит, надо восемь человек, считая меня самого. Четверых машинистов и четверых помощников... Я с ребятами поговорил, все согласны. Только надо, чтоб Зуев утвердил... Ну и денька три, конечно, попрактиковаться не мешало бы...

— А, ч-черт! — привычно выругался Соболевский. — Когда же теперь практиковаться?! Я послезавтра хотел перевозить комбайн сюда. Если бы практиковаться там, на экспериментальном участке, так это хоть что-нибудь дало... А тут, во дворе, вхолостую... Ерунда!

— Не такая уж ерунда! — возразил Бурцев. — Это ведь не новички-несмышлениши! Разберутся. Потом, в первую смену, как мы с

тобой пойдём, они спустятся посмотреть — опять практика...

— Ты думаешь? — не очень доверчиво спросил Соболевский. — Ну ладно. А кто это такие?

— Да я же неделю назад список передал.

— Кому передал?

— А Фенечке, секретарше. Тебя не нашёл. Велел ей сначала тебе или Крюкову показать, а потом — Зуеву.

— Ни я, ни Крюков никакого списка не видели.

Вошёл Самохин.

— Понимаешь, какое дело, — кинулся к нему Соболевский, — Бурцев подобрал ребят, составил список...

— Знаю, все знаю, — перебил Самохин, — Фенечка напутала и передала список прямо Зуеву, а тот не подписывает. Говорит, они мне и на врубовых нужны...

— Начинается?

— Ничего не начинается, он по-своему прав. Ты только в это дело не лезь, мы с Крюковым сами...

— Да им же практиковаться нужно!

— Ну, брат, об этом следовало думать раньше. А теперь тащи сюда скорее свой комбайн, пусть хоть на поверхности в свободное время знакомятся.

— Нет, так нельзя. Я сам сейчас пойду к Зуеву...

Самохин схватил его за рукав.

— Вот бешеный. Говорю, не лезь.

Он хлопнул Соболевского по плечу и круто повернул его к выходу:

— Иди, иди домой или куда там тебе надо, а это дело предоставь мне. Только смотри, чтоб комбайн сюда скорее доставить...

Комбайн привезли двадцать восьмого и поставили в шахтовом дворе, возле входа, под специальным навесом.

— Горняцкие машины — грубые, им всякий климат нипочем, — пошутил кто-то, глядя, как ветер заносит снежную крошку под этот навес.

Но Бурцев придерживался другого мнения. Поднявшись на-гора, он деловито осмотрел комбайн и отправился на поиски Соболевского.

— Надо досками обшить навес, — сердито сказал он, — пурга может случиться и вообще так любой человек доступ имеет. Могут и не со зла испортить.

Соболевский послал плотников, навес обшили. К вечеру Бурцев привел трех машинистов, которых намечал себе в сменщики.

— Ну, учитесь.

Они вошли в сарай.

— Темно! — сказал поживаясь молоденький Нахмутдинов, татарин из-под Казани, в прошлом году окончивший ремесленное училище.

— А в шахте светло?

— Так у меня там лампа на каске.

— Гм... верно. Сейчас достанем!

Но ламповщица наотрез отказала во внеурочных лампах. Бурцев побежал разыскивать Крюкова — только Крюков или Зуев могли в этом случае распорядиться. Крюкова на месте не было. Бурцев заглянул к Самохину.

В гимнастерке без погон, но с аккуратным пластмассовым подворотничком, Самохин выглядел по-военному подтянутым.

— Товарищ Самохин, — крикнул Бурцев, — нужны лампы!

Парторг сердито прищурился:

— Откуда же у меня лампы?

— Не у тебя, но...

Пока Бурцев объяснял, Самохин уже снял трубку телефона. Он заставил телефонистку соединить его по крайней мере с пятью телефонами, но Крюкова не нашел.

— Что же делать? — угрюмо спросил Бурцев.

— Заранее думать, — жестковато сказал парторг. — Я считаю, что все мы тут только задним умом крепки. Вся эта история с машинистами...

— Уладилось?

Самохин махнул рукой:

— Какой там!

— Значит, насчет ламп к нему нечего соваться?

— И не пытайся.

Бурцев помолчал.

— Слушай, товарищ Самохин, тебе-то лично одну лампу дадут, если ты потребуешь?

— Ну, дадут.

— Пойдем. Мы и с одной позанимаемся.

— О-о, хитер! Ладно...

Когда Бурцев вернулся с лампой к сараю, вместо трех машинистов его ждал только Нахмутдинов.

— А где остальные?

— Ушли. Говорят, все равно не получишь. А я говорю нет, Бурцев не такой, он получит.

— Ну и прав: вот лампа. Пошли.

Они снова влезли под обшитый навес, и Бурцев принялся объяснять принципы управления комбайном, заставляя своего ученика повторять каждое слово. За этим занятием застал их Соболевский.

— Молодцом, молодцом, — рассеянно похвалил он Нахмутдинова, — а остальные где?

Бурцев рассказал все, что произошло.

— И Самохин говорит, что Зуев все еще не дал согласия?

Бурцев молча пожал плечами. Соболевский даже зубами скрипнул:

— Так это же зарез, Евгений Степанович! Понимаешь, зарез?

— Может, еще уговорит?

Неожиданно вмешался Нахмутдинов. С легким татарским акцентом, который усиливался у него при смущении, он робко сказал:

— Товарищ механик, не сердись, я совет дам.

— Что? Какой совет? — изумился Соболевский.

— Хороший совет, не сердись. Почему хочешь старых врубмашинистов брать? Надо новых, молодых. Вчера кончил ремесленное, хочет знаменитый быть. На комбайн счастливый пойдет.

— Опытных, Нахмутдинов, надо. Опытных, знающих...

— Ремесленное кончил, много знает. Научится быстро. Как я.

Соболевский улыбнулся:

— Да где же таких, как ты, взять?

— О-о, я тебе найду. В сентябре приехали. Начальник их в резерв поставил: пьют, едят, в общежитии живут, а на шахте — подменными, и то редко. Хочешь — трех? Хочешь — пятерых? Замечательные ребята! Спасибо будешь говорить.

Соболевский шагнул к Бурцеву. В сарае было темно, единственная шахтерка еле освещала комбайн.

— А что, если в самом деле?.. — медленно спросил инженер.

Бурцев откликнулся обрадованным голосом:

— Надо попробовать, Петр Иванович. Среди этих ребят, Самохин говорил, отличные парни есть. К машинам они приучены. Давай?

— Когда можешь привести? — повернулся Соболевский к Нахмутдинову.

— Завтра, когда хочешь, товарищ механик. Я завтра свободный. Когда хочешь, приведу.

Договорились о времени. Соболевский отпустил Нахмутдинова.

— Ну, как думаешь, Евгений Степанович, выйдет у нас или не выйдет?

Бурцев ответил уверенно:

— Обязательно выйдет, Петр Иванович. Как может не выйти?

Ночью Соболевского разбудил стук. Он долго не мог понять, что стучат к нему.

— Петр Иванович, а Петр Иванович! — надрывался за дверью Бурцев. — Проснись, Петр Иванович!

— Что случилось?! — узнав голос Бурцева, вскочил Соболевский.

В одном белье, не зажигая света, он распахнул дверь.

— Петр Иванович, — испуганно спросил Бурцев, — а как мы его спускать будем?

— Куда спускать?

— Ну в шахту, на горизонт как он попадет?

— Ума рехнулся!.. Клетью, конечно.

— Клетью? Клетью?! Да не влезет же он в клеть, Петр Иванович, — чуть не плача, закричал Бурцев.

— Кто сказал?

— Я тебе говорю, я обмерял.

— Не может быть... На экспериментальном влезал...

— Не знаю, какая у них там клеть. А у нас — старая. У нас не влезет...

— Ч-черт!

Соболевский, наконец, повернул выключатель. Бурцев машинально оглянулся: неуютная, почти пустая комната с этажеркой, беспорядочно набитой запыленными книгами. Окно без занавески. Пожелтевшая карта Европы, застрявшая с военных лет. (следы булавок, которыми отмечалось победоносное движение советских войск, были еще отчетливо видны), стол, покрытый старой газетой.

«Как сыч живет!» — с невольной жалостью подумал Бурцев.

Соболевский поспешно одевался.

— Не может быть, не может быть, — все еще бормотал он.

Нахлобучивая треух, он спросил:

— У тебя метр есть?

— Нет, я веревкой мерил.

— Ну, все равно.

Они почти побежали. Сарай был закрыт на маленький висячий замок.

— Ты повесил?

— Ага... А то, думаю, мало ли... Сейчас откроем.

— Знаешь, какой ты парень? — вдруг очень тихо сказал Соболевский. — Ты золотой парень! Таких и не бывает вовсе... Их придумывают...

— Да брось, ты, Петр Иванович... Посвети мне лучше.

Бурцев передал Соболевскому карманный электрический фонарик, захваченный из дому. Они оба одновременно вошли в сарай.

— Ну? — тяжело сказал Соболевский.

Бурцев молча достал веревку.

— Меряй ты сам, Петр Иванович.

Соболевский размотал веревку и, тщательно вымерив длину машины, сказал:

— Ну вот, завязываю узел.

Ни слова не говоря, они вместе вышли из сарая и пошли к входу в шахту. Клеть была внизу, им пришлось ждать минут десять.

— Ну-ка, дай обмерить, — сказал Бурцев, отодвигая стволую, едва клеть поровнялась с землей. Стволовая вдруг разозлилась:

— Да что это ты, все меряешь, меряешь... Я начальнику пожалуюсь...

Заметив Соболевского, она недовольно замолчала.

— Держи этот конец, Петр Иванович, — сказал Бурцев, входя в клеть.

— Держу.

Соболевский перешагнул порог клетки, подошел к левому ее краю. Бурцев натянул веревку.

— Видишь?

Нельзя было не видеть. Узел, завязанный самим Соболевским, приходился сантиметров на пятнадцать дальше того места, где веревка соприкасалась с правой стенкой клетки.

— Примерно четверть метра, — сказал Бурцев.

— Нет, поменьше... Но все равно...

Не сговариваясь, они вышли из клетки и побрели к выходу.

— Интересно, который теперь час? — зачем-то спросил Соболевский.

— Третий, должно быть, — безучастно ответил Бурцев.

— Ты домой, Евгений Степанович?

Бурцев помедлил.

— Да хоть и домой... — он пошарил в карманах и громко вздохнул, — вот обида, забыл ключи. Теперь жену будить...

— А пойдем ко мне, — обрадованно предложил Соболевский.

— Пойдем.

Они неторопливо дошли до общежития ИТР, и со стороны можно было подумать, что два малознакомых человека случайно идут вместе по одной дороге.

В комнате Соболевского горел забытый впопыхах свет.

— Жаль, водки у меня нет, — швыряя трех на кровать, сказал Соболевский.

— Водки? Да нет, ничего... можно без водки, — не сразу ответил Бурцев.

Он очень аккуратно снял пальто, шапку, повесил их на гвоздь, вбитый возле выключателя, и даже пригладил ребром ладони свои негустые

каштановые волосы. Лицо у него было сосредоточенно задумчивое.

Соболевский ходил по комнате, засунув руки в карманы. Тень металась следом за ним по белым оштукатуренным стенам.

— Можно без водки, — после долгого молчания повторил Бурцев. — А что, чаю у тебя нельзя сварить? Люблю чай, когда надо подумать.

— Да над чем ты думаешь-то, черт возьми? Над чем? Что тут можно теперь придумать? — срываясь, пронзительно закричал Соболевский.

Спокойно, будто не слыша крика, Бурцев ответил:

— Я думаю вот над чем... Скажи-ка, Петр Иванович, винт режущей части у тебя до конца нарезной? До самой крестовины?

— Винт? — изумленно переспросил инженер. — Н-нет, не до конца... А что?

— Сейчас скажу.

Бурцев подошел к столу, поискал карандаш, бумагу, — не нашел и повернулся к Соболевскому.

— Без чертежа трудно. Ну ладно. Вот ты подумай, если его нарезать до самой крестовины, чтоб он весь же при желании мог уйти в тело комбайна, на сколько это сократит общую длину машины?

— Как, как? — задохнувшись, остановился Соболевский. Вдруг, поняв, он кинулся к Бурцеву: — Евгений Степанович, дорогой ты мой!

— Это можно, значит? — еще боясь поверить, осторожно отстранился Бурцев.

Соболевский схватил Бурцева за руку:

— Это даст двадцать пять сантиметров! Понимаешь?! Двадцать пять!.. Только вот, как успеть за один день?

— В нашей механической сумеют?

— А чего же не сумеет? Вполне...

— Тогда успеем! Я там многих ребят знаю, хорошие ребята; дивные, знаешь, слесаря-ремонтники. У них, Петр Иванович, талант в руках...

От радости Бурцев почему-то начал расхваливать слесарей. Соболевский нетерпеливо перебил его:

— Ладно там, талант! Ты сам... Знаешь, какой ты сам талант? Образования — кот заплакал, а мозги, как жернова...

— Вот образования — это я сам знаю — не хватает, — печально подтвердил Бурцев.

— Что ты грустишь? Ну чего? Хочешь, я с тобой всю программу десятилетки пройду за два года... С такой-то головой! Хочешь?!

— Брось ты, Петр Иванович! Разве это мыслимо?

— А я тебе говорю, не только мыслимо, но вполне реально. Я тебе слово даю, что так тебя натаскаю к экзаменам — сам удивишься... По рукам?

— Да я-то...

Оба они замолчали, взволнованные горячим чувством дружбы, которую ощущали почти физически. Соболевский вдруг вспомнил:

— Ты, кажется, чаю хотел? Это ведь можно... У меня тут электроплитка где-то была...

— Да нет, что чай... Ты спать хочешь? — спросил Бурцев.

— Совсем не хочу, а что?

— Пойдем-ка, Петр Иванович, к комбайну...

— Зачем?

— А так... глазами посмотрим, примерим, подумаем, что и как... Пойдем?

— Идем, пожалуйста.

Они снова оделись и вышли на улицу.

— Ну и ночка у нас! — сказал Соболевский. — Тебя жена не загрызет?

— Да она же знает.

— Что знает?

— А почему я убежал. Она меня и не ждет. Я ей объяснил. Я, понимаешь, уже спать лег, а заснуть не могу: все думаю и думаю, как это будет тридцатого. Я, ведь, Петр Иванович, до врубовки сколько времени проходчиком был... Адский все-таки труд. До того тяжелый... И вот паляю там, отбуриваю, кайлю, а сам все думаю: когда же на мое место машина встанет? Она меня освободит. Правда, она же от меня и мыслей потребует...

— Верно, верно, это такой взаимный процесс, — волнуясь подтвердил Соболевский. —

Я всегда именно об этом думаю, когда на машины гляжу...

— Конечно, это ж самое важное: люди другими станут!

Они подошли к сараю.

— Так что ж ты жене объяснил? — вернулся к началу разговора Соболевский.

— Жене-то? Так и сказал: по-моему, говорю, комбайн в клеть не влезет. Надо сходить, проверить.

— Ну, а она?

— А она у меня женщина разумная. Иди, говорит, времени не теряй, а то как бы промашки у вас тридцатого не вышло...

— Хорошая она у тебя женщина, — вздохнул Соболевский.

— Ничего, обыкновенная, — согласился Бурцев.

6

Намеченных сроков все-таки не выдержали. Не помогли дивные слесаря Бурцева: оказалось невыполнимым за один день и удлинить нарезку винта до крестовины, и отрубить лишний теперь задний конец этого винта, и поставить всю режущую часть обратно на комбайн. К тому же на раздетом комбайне невозможно было проводить занятия с молодыми врубмашинистами.

Нахмутдинов привел пятерых. Каждому из них было не больше восемнадцати лет, и у каж-

дого разгорались глаза при одном упоминании о комбайне.

Самохин и Крюков вдвоем уговаривали Зуева утвердить новый список.

— Они ж у нас все равно в резерве, — доказывал Самохин.

— А Бурцев? А Нахмутдинов?

— Без этих двоих проходки начинать не будем! — вдруг решительно объявил Крюков. — И даже еще одного из старых машинистов следовало бы...

— Ну нет, достаточно, — придвигая список и размашисто надписывая в левом углу: «Утверждаю», сказал Зуев.

Он совершенно не верил в затею с этими выпускниками, но предпочитал помалкивать. С некоторых пор Зуев вообще отмалчивался. Даже сообщение Крюкова о том, что проходку начать тридцатого не удастся, он выслушал без особых комментариев.

Крюков скупой доложил:

— Приходится укорачивать винт режущей части, так как габариты клетки не соответствуют габаритам комбайна.

— А разве невозможно было предусмотреть это заранее?

Крюков не ответил.

— Хорошо, я сообщу в комбинат, — холодно сказал Зуев. — На когда переносим?

— Я полагаю, можно на третье или на пятое... — осторожно предложил Крюков.

— Так на третье или на пятое?

— Давайте — пятое.

Зуев перелистал настольный календарь и, дойдя до пятого декабря, записал: «Пуск комбайна».

— Больше ничего?

— Больше ничего, — склонив голову, сказал Крюков.

— Превосходно.

Когда Крюков вышел, Зуев взялся за трубку угольного телефона:

— Комбинат. Главного инженера.

Телефонистка ответила, что его на месте нет.

— Хорошо, дайте секретариат начальника.

Обменявшись шутливymi приветствиями с секретаршей, Зуев передал короткую телефонограмму о том, что плановый срок начала проходки трехсотого горизонта комбайном сорван по вине главного механика шахты «Капитальная» Соболевского.

— Больше ничего? — удивленно переспросила секретарша, привыкшая к тому, что при всяких неполадках управляющие трестами и начальники шахт заранее подолгу оправдываются даже перед нею.

— Ничего, кроме наилучших пожеланий лично вам, Леночка!

— Это записывать не надо?

— Не обязательно. Будьте здоровая и красивая, Леночка.

— Постараюсь специально для вас, товарищ Зуев...

Телефонистка разъединила их раньше, чем Зуев успел придумать остроумный ответ.

Бурцев, начиная с тридцатого, все время посвящал своим пятерым ученикам. Они оказались словно на подбор сметливыми и толковыми пареньками, но, конечно, было трудно определить заранее, как они поведут себя в шахте.

— Практику в Мосбассе проходили?

— Там.

— А сюда как попали?

— По разверстке. Врубмашинистов там много, а здесь нехватка.

— Жалеете?

Черноволосый, красивый юноша в флотской тельняшке под расстегнутой телогрейкой быстро ответил за всех:

— Теперь нет.

— Когда это — теперь?

— А вот с сегодняшнего дня. Комбайн — это же здорово!

— Здорово! — согласился Бурцев. — Только ведь и работать на этом комбайне надо здорово.

— А это вы увидите, как мы работаем. Дайте только работу. Конечно, не двор подметать...

Он говорил уверенно и держался независимо, как знающий себе цену человек. Впрочем, и ос-

тальные держались так же: без развязности, но свободно.

«Совсем другие, чем я был! — с приятным удивлением подумал Бурцев. — И смотрят, и говорят, и даже думают иначе... А всего-то десять — двенадцать лет разницы!»

Соболевский забегал в сарайчик, где Бурцев обучал молодежь. Иногда он объяснял то, чего не мог знать Бурцев. Ребята смотрели на него с восхищением и понимали с полуслова.

— Какое у вас образование? — любопытствовал он как-то.

У всех пятерых оказалась за плечами оконченная семилетка.

— Вот, видишь? — не то укоризненно, не то печально сказал Бурцев.

Соболевский понял его мысль.

— Так я же сказал тебе, что за два года десятилетку пройдем. Думаешь, забыл?

— Нет, но когда же тебе...

— А вот пустим комбайн и примемся. Я свое слово держу.

Крюков вызвал Соболевского.

— Петр Иванович, я получил из комбината официальный запрос о причине срыва намеченных сроков.

— Ну и что ж?

— Я хочу вас предостеречь. Тут, конечно, не без нашего друга Зуева... Но формально они правы: сроки сорваны по вашей вине. Так вот,

дорогой, чтоб это не повторилось. Пятого комбайн должен пойти. Вы понимаете? Должен!

— Он пойдет, — негромко сказал Соболевский.

— Хорошо. И... если у вас в чем-нибудь нет уверенности, вы лучше со мной сейчас же поделитесь. Мой опыт к вашим услугам.

Как всегда, Крюков выражался сдержанно, но за этим суховатым предложением услуг Соболевский вдруг снова почувствовал дружелюбие главного инженера.

— Платон Васильевич, я вам очень благодарен.

— Бросьте, голубчик, — спокойно сказал Крюков, — это простая честность.

Четвертого декабря вечером все приготовления закончились. В шахте делать было уже совершенно нечего, и Соболевский томился от безделья.

— Знаешь что? — вдруг сказал он Бурцеву. — Поднимемся на двухсотый горизонт и пройдем к северному, посмотрим, что там делается...

— Ну, что может делаться? — неохотно ответил Бурцев. — Ствол пробивают, и все.

— Не ленись, ходим.

— Экий ты, Петр Иванович, неугомонный. Денек переждать не можешь?

— Нет, но надо же знать. Ведь и второй комбайн не за горами...

— Ладно уж, — согласился Бурцев.

Он видел, что Соболевский не может сейчас оставаться в бездействии.

Они вызвали клеть и поднялись на двухсотый горизонт. Однако к северному крылу итти было очень далеко.

— Обождем Зину, она, кажется, в эту смену — подвезет, — предложил Бурцев.

— Ладно.

Они присели под телефоном на скамеечку диспетчера, у главного разветвления путей.

Позванивая, приближался электровоз. Машинист тормозил, подходя к диспетчерскому пункту.

— Не Зина?

— Сейчас посмотрю.

Бурцев встал навстречу поезду. Шли груженные углем вагончики. Он вернулся на скамейку.

— Во-первых, с грузом, а во-вторых, не она. Потерпи, Петр Иванович.

— Не умею я терпеть, — сказал Соболевский. — Все, кажется, могу, только бы не ждать.

— Что ж, товарищ Соболевский, по-твоему и весь уголь в один день выбрать?

— Ну, не в один, но... Нет, знаешь, Бурцев, если на всех шахтах, во всей стране, пустить комбайны...

— Опять про комбайны? — чуть усмехнувшись, сказал Бурцев. — А кто слово давал — до завтра про комбайны молчок?

— Ладно, посмотрю, как ты-то выдержишь!

Снова донесся шум и звонки приближающегося электровоза. Поезд летел, не замедляя хода.

— Вот это Зина, узнаю по походке! — быстро сказал Бурцев.

Встав на рельсы, он подал сигнал своей лампой. Поезд, заскрежетав колесами, остановился.

— Какого тут дьявола?..

— Не разоряйся, не разоряйся, Зиночка, — миролюбиво крикнул Бурцев. — Это мы с товарищем Соболевским. Ты порожняком? А куда едешь?

— На первый Внутренний.

Подожел Соболевский:

— Вот и хорошо. Подвези.

У пласта первый Внутренний они вылезли. Основной штрек кончился, но до северного ствола было еще далеко.

— Эх, потащились! — с досадой проворчал Бурцев, — по-настоящему перед завтрашним днем отдохнуть надо бы хорошенько...

Он устал и считал всю затею никчемной.

— Не пили меня, — весело отозвался Соболевский. — Я тут один короткий путь знаю.

— Отработанной лавой, небось?

Соболевский, поддразнивая, спросил:

— Трусишь, Евгений Степанович?

— Рисковый ты человек, — не отвечая прямо, задумчиво сказал Бурцев, — рискованный, да понапрасну.

— Ладно, брось наставления читать. Нельзя же всегда по правилам...

Он решительно шагнул вперед и вправо. Бурцев нехотя, молча следовал за ним. Они свернули в отработанную и необрушенную лаву. Здесь было тихо, и темнота казалась гуще, непроницаемее, чем на основном штреке. Стойки старого крепления покривились, кровля тяжело нависала над головами. Холодок пробежал по спине Соболевского. «Вот так и попадают в обвалы!» — подумал он, но вслух бодро сказал:

— Идем, идем скорее. Авось, проскочим.

— Не люблю я это словечко «авось», — по-прежнему хмуро возразил Бурцев. — От старых времен словечко: а-авось... Жить надо наверняка...

— Да ты философ, Евгений Степанович! — натянуто отшутился Соболевский.

Бурцев не ответил.

Они уже были на середине лавы, когда над головами их угрожающе затрещало.

— Беги! — крикнул Соболевский и, схватив руку Бурцева, рывком дернул его вперед.

Почти в то же мгновение сзади загрохотало, густая душная пыль заволокла лаву и мелкая крошка породы, как штормовая волна, окатила их.

— Закумполило! — с трудом переводя дыхание, сказал Бурцев.

Соболевский молчал. Острое сознание собственного легкомыслия и огромной вины перед Бурцевым охватило Соболевского. Как, как осмелился он идти этой отработанной лавой, на-

рушать самые элементарные правила техники безопасности да еще тащить за собой на гибель другого? И все это — накануне ответственного дня... «Идиот, дурак, мальчишка!» — мысленно повторял себе Соболевский. Он до крови закусил губы. Бурцев тихо потрогал его за руку.

— Ну, Петр Иванович, как будем выбираться?

Голос его звучал деловито и буднично. Ни тени упрека!..

Соболевский отчаянно замотал головой.

Путь, которым они только что прошли, теперь отрезан. Возвращение назад, на основной штрек действующей шахты, уже невозможно. Оставалось одно: искать выход в заброшенных выработках, которые вели к старой штольне.

Разговаривать было трудно. Пыль оседала медленно. Нехватало воздуха. Итти вперед приходилось сгибаясь. Собственно, не итти, а ползти и протискиваться. С полчаса они молча и энергично одолевали все препятствия. Внезапно Соболевский остановился:

— Послушай, Евгений Степанович, да правильно ли мы идем?

Бурцев устало ответил:

— А черт его знает, кажется, правильно.

— Давай передохнем.

— Чего там — передохнем! — грубовато сказал Бурцев. — Надо скорее на-гора выходить... Наверное, уже часа два бродим.

— Но дальше так итти тоже глупо.

— Как это — так итти?

— Без уверенности.

Бурцев, не возражая, помолчал. Неожиданно он вздохнул:

— Теперь уже ничего не сделаешь. Ты на лампы обрати внимание...

И тут только Соболевский заметил, что их лампы на касках светят слабее, чем следует.

— Иссакают?!

— Ну да. Мы же когда еще в шахту спу-
скались?.. Скоро две смены!

— О, ч-черт!

Замолчали оба. Ни один не нуждался в объяснениях. Не сговариваясь, они снова пошли вперед, по какому-то заброшенному ходку, наконец, очутились под дырою углеспускной печи. Тусклый свет лампы вырвал из темноты неровное, осыпающееся отверстие.

— Непростительное легкомыслие с моей стороны! — вдруг горько признался вслух Соболевский. — Как мальчишка, полез и тебя завел...

— Ну ладно, нечего теперь каяться. Ты как думаешь, где мы сейчас?

— По всему судя, уже в районе старой штольни.

— Так это бы хорошо, — оживился Бурцев, — это бы замечательно. Старая штольня не так велика, а из нее прямой выход на поверхность.

— Но как его найдешь, этот выход?

— Надо найти, не пропадать же.

Слово было сказано: не пропадать же! Значит, точно, заблудились, и можно пропасть. Какая нелепость — заблудиться накануне пуска! Соболевский мысленно ругал себя последними словами.

Бурцев сказал, заглядывая в печь:

— Слушай, Петр Иванович, давай все взвесим. Мы — ясное дело — заблудились. Искать нас сегодня никто не будет: на-гора думают, что мы на трехсотом, а на трехсотом мы ничего не сказали. И там будут думать, что мы поднялись... Пока все это обнаружится, могут вполне и сутки пройти.

— Сутки?!

Соболевский внутренне содрогнулся. Сутки! На завтрашнее утро назначен пуск комбайна. Сорвать второй срок? Дать кому-то право говорить, что он, Соболевский, вторично...

— Бурцев, да ты понимаешь, что значит — сутки?!

— Потому и говорю: надо скорей искать выход.

Соболевский энергично выпрямился.

— Ладно. Пошли.

Лампы меркли с каждой минутой.

— Надо подыматься, — твердо сказал Бурцев. — Если предположить, что здесь поблизости старая штольня, то, конечно, лезть надо вверх, к поверхности...

Он еще раз недоверчиво заглянул в отверстие. Соболевский отстранил его:

— Подставь спину. Я полезу.

Согнувшись, как сгибался в детстве, когда играл с соседскими мальчишками в чехарду, Бурцев сказал:

— Может, меня пустишь первым?

— Не пущу.

Кое-как, они оба, помогая друг другу, очутились в узкой вертикальной трубе печи. Вырубленные в породе и когда-то укрепленные досками трапы давно обвалились. Подниматься было невыразимо трудно. Они лезли вверх, упорно, мучительно, цепляясь ноющими руками и ногами за каждую неровность, за каждый выступ. Вдруг Соболевский крикнул:

— Добрался! — и с неожиданной силой, подтянувшись на мускулах, выбросил тело на штрек. Он тотчас лег над дырой, из которой только что выбрался сам, и протянул руку Бурцеву.

— Давай, давай, — закричал он, — не задерживайся.

Бурцев ухватился за руку инженера. На минуту ему показалось, что тот не удержит. Но Соболевский крепко сжимал кисть товарища.

Потом они долго лежали, стараясь не глядеть в дыру, из которой только что выбрались.

— Закурить бы теперь, — вдруг сказал Соболевский и тотчас понял, как велико было пе-

режитое напряжение: впервые в жизни мысль о куреве явилась к нему в шахте.

— Н-да, — неопределенно отозвался Бурцев.

Свет ламп слабел с каждой минутой. После подъема по печи руки и ноги неприятно дрожали. Дыхание стало тяжелым.

«Газ?!» — подумал Соболевский.

— Надо встать, — строго сказал Бурцев. — Ты, Петр Иванович, можешь?

— Могу, — неуверенно отозвался Соболевский и не шевельнулся.

— А ну-ка, — отрываясь от земли и потянув за собой инженера, крикнул Бурцев, — ну-ка, давай!

Они встали на ноги. Дышать теперь было легче, но ноги все-таки дрожали.

— Как же будет завтра с комбайном? — вдруг спросил Соболевский и, не дождавшись ответа Бурцева, сердито закричал: — Судить меня надо, что пустился на эту авантюру! Судить! На месте Зуева так бы и сделал: главного механика — под суд за дезертирство с поста!

— За дезертирство? — насмешливо переспросил Бурцев.

— Да, да, да! — упрямо повторил Соболевский.

— Слушай, Петр Иванович, — зло сказал Бурцев, — кажется, ты не барышня, капризничать нечего.

Соболевскому стало стыдно. Из них двоих он во всяком случае обязан был оставаться

более сильным и спокойным, а выходило наоборот.

— Через полчаса лампы погаснут, — тихо пробормотал он, взглянув на тоненькую ниточку света, протянувшуюся от каски Бурцева.

— Точно, — равнодушным тоном подтвердил Бурцев. — За это время нам надо непременно выйти на штольню.

Они снова побрели вперед и внезапно уткнулись в разветвление двух старых, заброшенных штреков.

— По которому же идти? — Бурцев глубоко задумался.

— Витязи на распутье, — негромко сказал Соболевский.

— Что? — не расслышал Бурцев.

— Нет, ничего, так.

Бурцев, наконец, решил:

— Ты, Петр Иванович, иди вправо, а я — влево. Иди и считай шаги. Ну, скажем, две тысячи шагов... И я так же пойду. Через две тысячи шагов в любом случае поворачивай назад. Встретимся тут же.

— А лампы?

— Ничего, мы сейчас отметим место, чтоб и в темноте найти.

Он оглянулся, встал на колени, ощупью отыскивая какой-нибудь предмет, годный для отметины. Нашарив доски, он выложил их клеткой.

— Вот так. Теперь пошли.

Соболевскому вдруг мучительно не захотелось расставаться с Бурцевым.

— Может быть, все-таки вместе?

— Нет, Петр Иванович, нельзя лишнее время терять.

Он ободряюще хлопнул Соболевского по плечу.

— Ладно, — хрипло сказал Соболевский, — как говорит Крюков, ни пуха тебе ни пера.

— Это теперь нам обоим — ни пуха ни пера.

Бурцев, не оглядываясь, зашагал влево.

Соболевский еще постоял несколько секунд в раздумье. Он и сам бы не мог сказать, о чем думает. Ноги не шли у него.

— Ну, иди, иди, — вдруг донесся до него голос Бурцева, словно тот знал, что Соболевский стоит, не двигаясь.

Соболевский вздрогнул, выпрямился и тяжело шагнул. «Надо, надо!» — повторил он себе. Лампочка уже совсем не отбрасывала света. Соболевский снял каску, посмотрел: нет, в центре, за увеличивающим стеклом, еще мерцала крошечная световая точка. Снова надев каску и вытянув, как слепой, руки, Соболевский медленно пошел...

Он шел, глубоко задумавшись, и вслух механически отсчитывал шаги: «двадцать пять... двадцать семь... тридцать девять...» Шаги получались мелкие, как он ни заставлял себя шагать пошире. Обычная его — быстрая и легкая —

походка в темноте изменила ему. В голове стучала одна мысль:

— А если не выйдем?

Он постарался думать о чем-нибудь другом: как же ходят слепые? Для них жизнь вообще неразлучна с тьмой. Говорят, зато осязание у слепых... Ах, да черт с ним, с этим осязанием. Что же будет, что же будет, если они не выбьются до утра?!

Соболевский вдруг отчетливо представил себе это завтрашнее утро. Кто первый заметит их отсутствие? Наверно, Самохин. Побежит к Крюкову. Пошлют на квартиры. Жена Бурцева скажет: «Не приходил с вечера...» А у него вообще никто ничего не скажет. Пустая комната, закрытая дверь. Но, может, все-таки хватятся сегодня? Может, жена Бурцева удивится, что мужа нет? Может, Зиночка расскажет кому-нибудь, как везла их на первый Внутренний?

Нет, но как же он мог, как он осмелился — накануне пуска?..

Соболевский даже зубами заскрипел.

— Надо идти и считать, — сказал он себе строго. Звук собственного голоса немного успокоил его. — Пятьсот... А Бурцев уже наверно тысячу досчитывает... Пятьсот один...

Он вдруг заторопился, представив себе, что Бурцев уже возвратился назад и волнуется у сложенных клеткой досок. Но шаги все еще получались короткие, он держался стенки, боясь угодить в открытую и брошенную печь.

«Это же штольня! Тут не может быть никаких печей, не должно! — твердил он себе мысленно. — Пятьсот семьдесят... пятьсот семьдесят один... Это старая штольня, откуда печи в штольне? Пятьсот семьдесят два... А я, оказывается, к тому же и трус?»

Эта неожиданная мысль так заняла его, что шагов триста он прошел, решая самый настоящий, как ему казалось, вопрос: трус он или не трус? Почему-то вспомнилось, что в детстве, придя вечером в пустую школу, он бегом кинулся по гулкому коридору к выходу, объятый непонятным ему самому ужасом.

«Может быть, это психоз? Может быть, я боюсь именно темноты и одиночества? А как бы я вел себя на фронте?»

Сияясь представить себя в фронтовой обстановке, Соболевский невольно ускорил ход. В памяти вставали многие слышанные и читанные фронтовые рассказы. Он, вспоминая их один за другим, продолжал механически отсчитывать шаги:

«Тысяча двести два... тысяча двести три...»

Внезапно ему показалось, что до него донеслась слабая струйка свежего воздуха — легкое, еле ощутимое дуновение ветерка. Сразу бешено заколотилось сердце. Он остановился, чтобы успокоиться.

— Померещилось!

Почему-то он подумал о миражах в пустыне, о том, как потерпевшие кораблекрушение видят землю, которой нет.

— Всё глупости в голову лезут, а надо просто идти и выйти. Непременно выйти! — сердито сказал он себе вслух и снова принялся отсчитывать: — тысяча двести пять... тысяча двести шесть.

Но тотчас, как-будто в насмешку, ему почудился еле слышный шорох.

— Кто тут? — высоким голосом крикнул Соболевский.

Никто не отозвался.

— Совсем спятил!.. Тысяча двести семь...

Он сделал полтора или два десятка шагов, вслушиваясь до звона в ушах. Томительное ощущение, что сзади кто-то шагает с ним в ногу, не проходило. Наоборот, чужие шаги стали явственнее. Тогда Соболевский круто остановился. Невидимый спутник остановился тоже. Струйка холодного пота побежала от виска из-под каски за воротник спецовки.

— Ну, ну, — стиснув зубы, проворчал Соболевский, — начинаются слуховые галлюцинации?

Он заставил себя сдвинуться с места и пойти вперед. Сзади опять донеслись шаги и чье-то сопение.

— Бурцев, ты? — отчаянно закричал Соболевский, прижимаясь к скользкой, покрытой плесенью, стойке крепления.

Молчание и тишина ответили ему. Замирая, Соболевский вслушивался в эту тишину. Хотя какой-нибудь понятный звук? Ничего! Ничего! Только стук собственной крови в висках. Зато ему опять почудился встречный ток воздуха и именно с той стороны, в которую он шел.

Лихорадочно, поспешно он начал шарить по земле, ища какую-нибудь лужицу, какое-нибудь скопление влаги, стекающей с кровли. Ему повеселилось: рука быстро стала мокрой. Тогда он выпрямился и протянул эту мокрую руку вперед, навстречу тому ветерку, в который было страшно и чудно поверить. Если ветерок есть, рука застынет и быстро обсохнет... Так учили его в детстве, в пионерском отряде. Он ждал, боясь вздохнуть. Рука обсыхала... Но он не поверил себе и принялся повторять опыт. Сомнений не было: рука обсыхала, дул ветерок и, значит, впереди — выход!

Соболевский засмеялся от радости. Выход! Может ли быть что-нибудь радостнее?

— Бурцев! Б-у-у-ур-цев! — закричал Соболевский, оборачиваясь.

И тотчас голос его пресекся: две неяркие, светящиеся точки блеснули из непроглядной, как бы весомой и липкой темноты. С пересохшим горлом, ничего не понимая, Соболевский глядел и глядел туда, где блестели две эти точки.

— Наверно, отраженное мерцание моей собственной лампочки, — мелькнула успокоительная мысль.

Он сдернул каску. Лампочка не светила. Она была мертва, совершенно мертва и то, что даже самого слабого дыхания жизни не было в ней, оказалось всего страшнее. Теперь Соболевский уже не мог заставить себя оглянуться. Медленно нахлобучив каску, он стоял, прижавшись к мокрой стене штрека, не смея пошевелиться, не решаясь сделать шаг назад, туда, где ждал его Бурцев и где светились две эти непонятные точки.

Сколько времени прошло так, он не знал. Он был в оцепенении. Он впервые испытывал такой ужас, от которого слабеют колени и мертвоет тело. Потом наступило мгновение, когда он опять подумал о завтрашнем утре и огромным физическим усилием оторвался от стены.

Хорошо. Ладно. Итти назад он не может. Но вперед? К выходу? Дойти, добежать до выхода, до свежего воздуха, проникающего сюда такой тоненькой, как ниточка, струйкой; вдохнуть этот свежий воздух всей грудью; увидеть людей, крикнуть им... Ну, конечно, крикнуть, позвать, взять лампы и уже не одному, а с десятком товарищей вернуться за Бурцевым. Это займет полчаса, час, самое большее. И завтра утром они будут на месте. Будут!

Соболевский оторвался от стены. Ничего, тихо. Он сделал один осторожный шаг, потом другой, третий. Попрежнему все было тихо.

Тогда, втянув голову в плечи, он побежал. Он бежал в темноте, бежал странными, неуклю-

жими скачками, зажмурившись, вытянув вперед руки и только вдыхая, вдыхая широко открытым ртом летящий ему навстречу свежий воздух.

Внезапно он снова слышал прерывистое дыхание и тяжелые поспешные шаги за собой. Тот, неизвестный, тоже бежал!

Это было невыносимо. Соболевский вдруг обернулся и с пронзительным «а-а-а!» ринулся на своего преследователя. Две точки, пугавшие его издали, блеснули совсем рядом, одной рукой он уткнулся в жесткую, спутанную шерсть, другой почувствовал нечто непостижимое — маленькие, крутые, холодные рога.

— Что за бред?

Соболевский задохнулся, на какую-то долю мгновения ему показалось, что он сходит с ума или спит. Однако пальцы его попрежнему сжимали шерсть, что-то живое шевелилось и рвалось из рук...

— Да кто же это? — закричал Соболевский и вдруг услышал в ответ истерическое:

— Бэ-э! Бэ-э!

На секунду Соболевский снова остолбенел. Затем пальцы его сами разжались и, опусгнувшись на землю, он захохотал. Он хохотал так, как никогда прежде, он валялся, катался от хохота, он прижимал руки к животу, он всхлипывал и повизгивал, то утирая катившиеся по лицу слезы, то снова начиная хохотать. Внезапно по стенам штрека взметнулись и запрыгали свето-

вые блики и звонкий женский голос требовательно спросил:

— Эй, кто там хохочет?

Соболевский вскочил на ноги.

— Я, я, Соболевский! — трезвея, громко ответил он.

Свет стремительно приближался, стирая страх и непонятность; по стенам запрыгала чужая узкая и вытянутая тень; тот же голос спросил:

— Какой Соболевский? Кто вы?

Теперь этот голос показался инженеру грудным и нежным. Он только успел подумать, что у девушек, работающих в шахте, таких голосов не бывает, и тотчас зажмурился. Сноп света от ручной шахтерской лампы ослепил его. Прикрывая глаза рукой, он сказал:

— Опустите лампу!

Девушка медленно опустила лампу.

— Что вы здесь делаете? — спросила она.

— А вы?

Она ответила с легким вызовом:

— Ищу Митьку!

— Кого?! — изумился Соболевский.

— Митьку. Козла. Не встречали?

Перед глазами Соболевского снова мелькнули две неярко светящиеся в темноте точки; пережитый ужас заканчивался дурацким анекдотом! Обозлившись, он иронически поклонился:

— Как же, имел удовольствие встретить — минут десять тому назад... Во-он в том направлении...

Он вытянул руку назад и тотчас отдернул ее, уткнувшись в свалывшуюся, густую шерсть. Козел спокойно стоял в полуметре от него и словно прислушивался к разговору.

— Да вот он, пожалуйста.

— Ох, спасибо! — обрадовалась девушка. — Как вы его нашли?

— Я? — Соболевского снова охватил приступ смеха, но он сдержался. — Видите ли, не столько я, сколько... гм... ваш Митька меня нашел.

— Как это?

— Длинная история... Вот, что девушка, дай-те-ка вашу лампу, мне надо пойти назад и вывести сюда одного друга... Выход тут близко?

— Выход? Близко, метров двести.

— Великолечно. Давайте лампу.

— То-есть как это — «давайте»?! А я?

Соболевский изумленно посмотрел на нее.

— Что вы?

— Во-первых, как я пойду с ним (она кивнула в сторону козла) в темноте?

— Не беспокойтесь, он пойдет за вами.

— Ничего не пойдет, он же убежал. А во-вторых, вообще лампа не моя, я должна ее вернуть.

— Но вы понимаете, что там — человек?

— Нет, не понимаю...

Он взглянул на девушку и только теперь заметил, что вместо спецовки на ней обыкновенное городское пальто и валенки с галошами.

— Слушайте, а вы-то кто такая?

— Это тоже длинная история. Пропустите, я возьму козла.

— Нет, подождите. — Соболевский преградил ей дорогу. — Я вам сказал: там — человек. Он... Мы заблудились. У нас выгорели лампы. Теперь его надо как можно скорее вывести.

— Хорошо, что я должна сделать?

— Отдать лампу, больше ничего.

— Но я тоже не могу идти в темноте.

— О, ч-черт! — привычно чертыхнулся Соболевский.

— Митька, Митька, Митька! — глядя мимо Соболевского, позвала девушка.

— Пропади он пропадом, ваш Митька! — закипел Соболевский. — Я главный механик «Капитальной», понятно? И я вам просто приказываю отдать лампу.

— Но вы не можете мне приказывать, — обиделась девушка, — я не имею никакого отношения к «Капитальной», и вообще оставьте меня в покое.

— Да кто вы такая?

— Вам нужна фамилия? Или должность? Я новый врач из городской больницы. Фамилия — Терехина.

— А... а козел? — глуповато спросил Соболевский.

Девушка подавила улыбку.

— Ах, козел! Козел не совсем мой. Он — хоззяйкин. Я тут пока поселилась у одной старушки, одинокой. Это ее козел. Сегодня утром он пропал. Соседки видели, что он забежал в эту старую штольню. Но тут, видите ли, есть легенда, что в заброшенных старых штольнях водятся черти. И, хотя никто не верит, а разыскивать все-таки не пошли. Ну, я достала лампу и...

— Ладно, — перебил Соболевский. — Теперь все ясно. Но не могу же я из-за вашего черта оставить Бурцева...

Соболевский не договорил. Сзади, издалека, загремел возмущенный голос Бурцева:

— Так-то ты выполняешь уговор, Петр Иванович?!

— Бурцев, друг! — заорал Соболевский, кидаясь к нему навстречу.

Девушка высоко подняла лампу, осветив обоих. Они шумно хлопали друг друга по спине и плечам. Черный, нечесаный козел, опустив голову, равнодушно стоял рядом. Соболевский спохватился:

— Но как же ты, Евгений Степанович, очутился здесь?

— А я прошел по своему направлению метров триста и попал в тупик. Там дальше все завалило. Нет, думаю, делать тут нечего. Повернул обратно. Дошел до тех досок. Кричал кричал тебе — ты не слышишь. Я посидел, по-

дождал. Вижу, не возвращаешься. Значит — у тебя дорога открытая. Я и пошел твоим путем.

— Здорово! А здесь, говорят, до выхода всего двести метров.

— Так...

Бурцев внимательно поглядел на Соболевского, потом с недоумением на девушку и еще более недоуменно на козла. Соболевский поймал его взгляд.

— Э, тут такие приключения! Ну ладно, вы познакомьтесь: это товарищ Терехина, врач из городской больницы, а это — Евгений Степанович Бурцев, мой лучший друг, первый машинист проходческого комбайна...

— Так это вы завтра поведете комбайн? — с любопытством спросила Терехина.

— А откуда вы знаете о комбайне? — загорелся Соболевский.

Терехина пожала плечами:

— Господи, да сегодня на приеме в больнице только об этом и разговоров...

Козлу, видимо, надоело слушать, и он, повернувшись, медленно побрел в глубь шахты.

— Ах, мерзавец! Стой! — закричал Соболевский и одним прыжком догнал его.

— Держи за рога, за рога, — посоветовал Бурцев.

Соболевский, ухватив козла за левый рог, спросил:

— Вы хоть веревку-то принесли с собой?

— А как же!

Терехина торопливо протянула свою лампу Бурцеву и подбежала к Соболевскому. Вдвоем они завязали веревку.

— Всё. Крепко. Можете вести его.

Но козел, едва почувствовав веревку на рёбрах, уперся передними ногами в землю, не желая никуда трогаться. Девушка тянула изо всех сил, умоляюще приговаривая:

— Митька, ну, Митька же!

— Эх, дурак!.. Да я бы на твоём месте... — неожиданно сказал Соболевский и, перехватив у Терехиной веревку, рывком сдернул козла с места. — Идемте, товарищи!

Впереди пошла Терехина, высоко поднимая свою лампу. За ней шагал Соболевский с козлом на поводу. Шествие замыкал Бурцев.

— Который же теперь час? — спросил Бурцев.

— Наверно, часов одиннадцать, — отозвалась Терехина.

Соболевский встрепнулся:

— Все-таки, выбрались! Нет, нет, нельзя оставлять незасыпанными эти проклятые старые выработки.

Он вдруг погрузился в задумчивость и пошел молча, о чем-то напряженно размышляя. Даже выйдя из штольни, он не остановился. Бурцев полной грудью с наслаждением вдыхал морозный воздух. Соболевский все еще молчал, поглощенный своими мыслями.

— Вы далеко отсюда живете, товарищ Терехина? — спросил Бурцев.

— Да нет, рядом — вот этот домик.

Она показала на маленький домишко, которым начиналась улица Старого Поселка.

— Сами дойдете?

— Конечно... А вот вам надо прямо бегом, а то простудитесь в своих спецовках. Ведь мороз же!

— Да, — все не выходя из своей задумчивости, рассеянно сказал Соболевский, — холодно... Прощайте.

— До свиданья, — немного удивленная откликнулась Терехина, беря из его рук веревку, к которой был привязан козел.

Уже отойдя шагов двадцать, Соболевский вдруг очнулся.

— Батюшки, я так задумался, что не попрощался даже!..

— Что ты, Петр Иванович? Ты же сказал «прощайте!»...

— Нет, нет, это не то. погоди! — он повернул обратно и бегом догнал Терехину у самого ее домика.

Она встревоженно и удивленно посмотрела на него.

— Я хотел вам сказать, сегодня и завтра мне очень некогда, но вообще нам обязательно надо будет повидаться. Хорошо?

Девушка рассмеялась:

— Вы за этим бежали?

— Ну, конечно. И потом... Вы не удивляйтесь, вы только ответьте... Ладно?

— Что ответить?

— Вы замужем?

— Вы сумасшедший! — снова рассмеялась Терехина. — У вас болезненная страсть к анкетам: фамилия, должность, семейное положение.

— Нет, серьезно... Я очень спешу сейчас, но мне это необходимо знать. Скажите?

— Ну, если необходимо... — она помедлила, словно обдумывая что-то, но ответила спокойно и просто: — нет, товарищ Соболевский, я не замужем и даже пока не собираюсь.

— Вот спасибо! Вот спасибо! — просиял Соболевский и с чувством пожал ей руку.

Она опять удивленно взглянула на него, но он уже побежал обратно, махая ей каской, и она успела только вдогонку крикнуть:

— Не простудитесь, я все равно лечить вас не буду... Я хирург!..

Пятого утром комбайн погрузили в клеть. На специальных колесиках, подведенных под корпус, машина легко выкатилась из сарая, дошла до подъемника и свободно установилась в клеть. Соболевский и Бурцев переглянулись: оба помнили ту ночь, когда с веревкой в руках обмеряли эту клеть.

Зуев, Крюков, Самохин, Нахмутдинов и пятеро будущих машинистов комбайна ждали машину внизу, на горизонте.

— Ну, ни пуха ни пера! — отчетливо произнес свою поговорку Крюков, когда Соболевский занял место машиниста, а Бурцев встал помощником.

— Начали?

У Соболевского под шахтерской каской вдруг выступил пот. Бурцев взялся за ворот спецовки, словно ему было душно.

— Начали!

Соболевский включил мотор. Медленно, потом все быстрее, быстрее завертелась крестовина и с ходу, с колес, комбайн врезался в преграждавшую ему путь стену.

— Идет, идет, идет, — как заклинание повторял про себя Соболевский.

Губы его искривились, багровые пятна на лице выделялись даже в полутьме. Казалось, что ему жарко и нехватает воздуха.

— Следи за черпаками! — крикнул он Бурцеву.

— Порядок! — ответил тот.

Комбайн углублялся в стену, образуя тоннель в два с половиной метра диаметром. Однако шел он как бы рывками. Соболевскому страстно захотелось посмотреть на часы: ему казалось, что машина работает невыносимо медленно. Но часы, садясь за руль управления, он отдал Крюкову;

— Как ты думаешь, сколько? — не утерпев, крикнул он Бурцеву.

Переговариваться было очень трудно: грохот осыпающейся породы, шум мотора и металлический лязг крестовины заглушали все звуки. Бурцев не услышал. Внезапно комбайн затрясло на месте. Соболевского обдало жаром: авария?! Он выключил мотор. Тишина наступила мгновенно. Сдвигая на затылок каску, он с трудом повернулся к Бурцеву. У того было спокойное, невозмутимое лицо. Он буднично спросил:

— Пора ставить на саночки?

Соболевский почувствовал, как коость снова прихлынула к сердцу. Вот болван! Как же он мог забыть, что они идут еще на колесах?

— Ага!

Они оба одновременно соскочили на неровную кучу отбуренной породы.

— Что случилось? — подбегая, спросил Самохин.

— Ничего, на саночки пора переходить, — деловито ответил Бурцев.

На полозьях комбайн пошел быстрее и без рывков.

Теперь у руля управления стоял Бурцев. Соболевский с удивлением заметил, что комбайн у Бурцева идет гораздо ровнее и ритмичнее, чем у него самого.

— Почему это?

Ему пришли в голову слышанные где-то слова, что у няньки дитя всегда спокойнее, чем у матери.

— Ну что ж, тем лучше! — усмехнулся он. Транспортёр еще не работал, ему негде было поместиться, и Соболевскому, стоявшему на месте помощника, делать было совершенно нечего. Лишь завтра, когда они пробурят метров пять-шесть, можно будет установить транспортёр. Пока отгребщики вручную подхватывали породу, которую черпаки забрасывали на лоток.

— Сколько же мы прошли?! — опять подумал Соболевский и попытался прикинуть на глаз: комбайн вошел в тоннель, вырубленный им, примерно на треть своей длины.

— Метр, — мысленно подсчитывал Соболевский, — метр, а работаем, вероятно, часа четыре... Значит, за смену дадим два метра ухода... Маловато!

Он знал, что целая проходческая бригада — лучшая бригада шахты, даже в рекордные дни не давала больше полутора метров ухода. Разумом он понимал, что комбайн вполне оправдал себя, и два метра для первой смены — очень много. Но он сказал себе: маловато!

— Нажми, Евгений Степанович! — перегнувшись к Бурцеву и касаясь губами его уха, закричал Соболевский.

Бурцев отрицательно помотал головой, губы его зашевелились, но слов Соболевский не расслышал.

— Осторожничай!

Все начальство давно уже поднялось на-гора. Крюков и Самохин обещали вернуться к началу второй смены. Соболевскому вдруг вспомнилось, как испытывали впервые его буросб-ечную машину. Тогда расстояние между горизонтами не превышало восьмидесяти метров. Теперь оно достигало ста пятидесяти. Конечно, нельзя было и мечтать, чтобы та первая буросб-ечная прошла такую высоту по вертикали. Да и бурила она отверстие диаметром от силы в полметра...

Ну что ж? Он уже обдумывал, как усилить технические качества своей буросб-ечной, а люди еще не верили вообще в возможность механизированного бурения по вертикали... Потом эти же люди, когда испытания доказали правоту Соболевского, кричали:

— Предел человеческой выдумки!

А он уже делал рабочий чертеж такой буросб-ечной, которая могла проходить до ста пятидесяти метров в высоту и пробуривать до метра в диаметре...

Еще приходилось ему драться за широкое внедрение своей машины, еще не на всех рудниках бассейна вошла она в такую же повседневность, как отбойный молоток и электровоз, а у него уже зрела идея комбайна... Что будет теперь на очереди? Вчерашнее путешествие по старым выработкам снова вспомнилось ему,

Он очнулся от своих мыслей, потому что горсть породы ударила его в спину. Он оглянулся. Комбайн почти целиком вошел в пройденную им выработку. Только хвост его торчал снаружи. Самохин с веселой улыбкой кидался горстями породы, чтобы привлечь внимание Соболевского.

— Конец смены! — догадался главный механик.

Снова наклонившись к самому уху Бурцева, Соболевский с сожалением крикнул:

— Выключай, смена!..

Тот удивленно оглянулся. Губы его вытянулись трубочкой и по движению их Соболевский понял, что Бурцев спрашивает: «Уже?» Он утвердительно закивал головой, разводя руками. Бурцев поджал губы, но выключил мотор. И опять сразу наступила такая полная тишина, что ушам стало больно.

В пробуренное отверстие торжественно пролез начальник участка с метром в руках. Он неторопливо и тщательно сделал обмер:

— Два с половиной метра за смену.

— Поздравляю, поздравляю!

Самохин порывисто обнял сначала Соболевского, потом Бурцева:

— Идемте скорее, вас ждут!

— Кто ждет? Никуда я не пойду, — сказал Бурцев. — Сейчас Нахмутдинов вступает, а с ним Валька Кушевский — совсем сопляк...

Нахмутдинов и «сопляк» Кушевский, — веснушчатый паренек, которого хорошо запомнил

Самохин по общежитию, уже подошли к комбайну.

— Нашей скорости сегодня не превышать! — строго сказал Бурцев. — Машина должна привыкнуть. Если за сутки дадим семь с половиной метров ухода, тоже первый класс!

— Зачем говорить? Сам понимаю! — солидно сказал Нахмутдинов и, побледнев, полез на освобожденное Бурцевым место. Куцевский, стесняясь, поглядывал на Соболевского.

— Ну, забирайся, забирайся, — улыбнулся ему инженер.

— Да идите же сюда, — снова крикнул с вершлага Самохин.

Соболевский нехотя оторвался от машины. Он еще слышал, как Бурцев сказал Нахмутдинову:

— Все в порядке, включай!

Затем опять все загрохотало. Мотор заработал и режущий диск всеми зубьями вонзился в породу.

Неуклюже перепрыгивая через куски сырой породы, Соболевский первым вылез из выработки. Несколько человек в новеньком и чистом шахтерском облачении стояли недалеко от забоя. Один шагнул навстречу, и Соболевский вдруг узнал странно измененное каской лицо Уткина.

«Сейчас он мне скажет «спасибо, товарищ Соболевский» или что-нибудь в этом роде», — подумал главный механик, делая шаг к Уткину.

Но Уткин, повернув Соболевского лицом к пройденной выработке, откуда доносился ритмичный грохот, оживленно и весело сказал:

— Какая же умница машина, а? Лезет, лезет... Здорово!.. А управлять сложно?..

— Нет, управление очень простое, — сразу почувствовав интерес к разговору, так же оживленно ответил Соболевский, — вот эти ребята за пять дней освоились...

— Эх, попробовать бы! — мечтательно вздохнул секретарь горкома. — Слушайте, я ведь тоже горный инженер. Можно попробовать?

Просительное и смущенное выражение его лица почему-то растрогало Соболевского. Он вдруг вспомнил, что лет восемнадцать назад в Томске глядел на мотоциклетку соседа с таким же, должно быть, выражением надежды и желания.

— Ну, конечно, можно! Идемте.

Соболевский подтолкнул Уткина в двухметровую дыру, проделанную комбайном. Сзади доносился преувеличенно заботливый голос Зуева:

— Что это вы задумали, Иван Сергеевич?

Уткин сделал вид, что не слышит. Соболевский поднял горсть породы, швырнул ее в спину Вали Кушевского. Тот вздрогнул, но не обернулся. Соболевский швырнул еще раз. Кушевский втянул голову в плечи и, размахивая руками, закричал что-то Нахмутдинову. Тот выключил мотор.

— Где обвал, где обвал, глупая голова?

В наступившей тишине голос Нахмутдинова разнесся очень громко.

Кушевский виновато озирался и бормотал:

— Свалилось на меня что-то, Ches-слово свалилось!

Соболевский расхохотался.

— Нахмутдинов, слезь-ка на минутку, пусти, вот, товарища, — приказал он.

Нахмутдинов надул губы и недовольно покачивал головой.

— Моя смена. Почему товарища пускать?

— Ну, ну, не рассуждай. На минуту, говорят тебе...

Нахмутдинов, все еще качая головой, нехотя уступил свое место.

— И ты, герой, слезай, — сказал Соболевский Вальке, который исподлобья поглядывал на него.

Он пропустил Уткина и встал рядом с ним.

— Вот это включение мотора. Вот управление режущей части... Видите?.. Это остановка, ход назад.

Он показывал, быстро объясняя, и секретарь горкома вполголоса повторял его слова.

— Запомнили? Повторить еще раз?

— Да нет, не стоит. Давайте, начнем. В случае чего вы меня просто за рукав дергайте, и я выключу.

— Ладно.

У них у обоих были по-мальчишески нетерпеливые лица. Уткин взобрался на место машиниста.

— Начали!

Диск режущей части пошел, и машина нетерпеливо задрожала, вгрызаясь в породу. Прошло пять минут, десять, пятнадцать. Уткин не поворачивался, увлеченный атакующим движением диска. Нахмутдинов, так бесцеремонно отстраненный от работы, потерял терпение. Он начал кидаться комочками земли в Соболевского. Соболевский притворился, что не замечает. Тогда Нахмутдинов извернулся и, как кошка, взобравшись на кучу породы, обваливавшейся по обеим сторонам комбайна, прыгнул прямо на крохотную площадочку машиниста.

— Эй, довольно, — закричал он в самое ухо Уткину, — сказал — минута, сидишь час. Стой!

Увидев рядом со своим лицом расстроенное и негодующее лицо Нахмутдинова, Уткин почти машинально выключил мотор.

— В самом деле, хорошего понемножку, — сказал Соболевский. — Ну как, ничего?

— Замечательно! — от души похвалил Уткин. — А какая подача... До чего же дегко идет! Давно не получал такого удовольствия...

Соболевский улыбался.

— Начинай, Нахмутдинов, больше тебя не остановим, извини за беспокойство.

Они слезли с комбайна и выбрались на
квершлаг.

— Не устали, Иван Сергеевич? — с той же,
что и раньше, преувеличенной заботливостью
спросил секретаря Зуев.

— Вы бы хоть своих шахтеров постыди-
лись! — рассердился Уткин. — Их после вось-
мичасовой смены вы так же спрашиваете?

— Всяко бывает, — не смущаясь, быстро от-
ветил Зуев и, как ни в чем не бывало, повернул-
ся к остальным. — Ну что ж, на-гора?

— Подниметесь, товарищ Соболевский? —
спросил главного механика Уткин и взял его за
локоть.

— Я не знаю, — нерешительно отозвался
Соболевский. Он вдруг увидел Крюкова, кото-
рый держался слегка в стороне.

Крюков заметил взгляд Соболевского.

— Полагаю, Петр Иванович, что все в по-
рядке, — поспешно и деловито сказал главный
инженер, — я назначил сюда лучших крепиль-
щиков.

— Платон Васильевич... — с чувством начал
Соболевский.

Крюков перебил его:

— Вечерком или завтра зайдите ко мне, тог-
да поговорим...

Он дружески подтолкнул Соболевского впе-
ред и следом за ним пошел к клетки. Самохин
догнал их.

— Полная твоя победа! — радостно сказал он, обхватив Соболевского за плечи. — Полнейшая!

— Наша, наша победа, — поправил Соболевский.

Они с удовольствием оглядели друг друга и вместе вошли в клеть.

Наверху, возле главного ствола, их ожидала целая толпа. Свободные от смен шахтеры, начальники участков, приехавшие из Кемерово журналисты накинулись на Соболевского и Бурцева.

— Дайте, дайте им хоть вымыться, — повторял Самохин, энергично прокладывая путь к мойке. — Сейчас, на раскомандировке все узнаете, потерпите еще немножко...

Громко смеясь и отвечая на десятки вопросов сразу, они все вместе прошли в мойку. Даже тут Соболевского и Бурцева останавливали на каждом шагу. Всем хотелось поздравить их и сказать что-нибудь хорошее. Наконец, Уткин решительно увел Соболевского. Они заняли соседние душевые кабины.

— А что это рассказывают, будто вчера вы совершали какую-то прогулку по старой штольне? — спросил из-за перегородки Уткин, регулируя холодный и горячий краны.

Из-под слоя угольной пыли на лице инженера проступили багровые пятна.

— Откуда вы знаете?

— Нам по чину положено, — рассмеялся Уткин.

— Нет, правда, откуда? — Соболевский даже выглянул из-за перегородки. — Мы ведь уловились — никому ни слова. Неужели Бурцев не устоял?

— Мойтесь, мойтесь, — посоветовал Уткин и, отрегулировав, наконец, душ, зафыркал, заплясал под сильной струей воды.

Облако горячего пара затянуло кабины. Некоторое время они оба ожесточенно и молча оттирали черный угольный налет.

— Итак? — вылезая из кабины, снова спросил Уткин.

— Сначала скажите, кто вам рассказал?

Уткин усмехнулся:

— Один врач интересовался вашим здоровьем и просил передать привет.

— Врач?! — от неожиданности Соболевский даже опустил сапог, который принялся было натягивать.

— Это приятельница моей жены, — сжалился над ним Уткин:

— О-ох!

Подошел уже одетый Бурцев.

— О чем речь?

Соболевский удрученно молчал.

— О том, как вы вчера чертей ловили, — с серьезным лицом сказал Уткин. — Вот, прошу рассказать, а он не хочет...

— Давай, Петр Иванович, я объясню, — предложил Бурцев и коротко изложил Уткину все, что произошло с ними.

— Значит, козла поймали? — расхохотался Уткин. — А признавайтесь-ка, страшно было?

— Очень, — горячо сказал Соболевский, — я такого ужаса никогда не испытывал. Эти старые выработки просто беда. Нельзя их так оставлять. Сколько от них несчастий и жертв, не говоря уж о самом главном — о подземных пожарах...

— Да, проблема выработанных полей...

Соболевский посмотрел на секретаря горкома.

— Иван Сергеевич, а вы знаете, о чем я теперь думаю?

— Нет, Петр Иванович, не знаю. О комбайне?

— Почему о комбайне? Комбайн уже пошел. Теперь у меня с ним кончено. Его только надо на все шахты, но это уж трест или там комбинат сделают. Нет, я не о комбайне. Я о закладочной машине.

— Какая закладочная машина?

— Такая, которая будет забрасывать породу в отработанное пространство. Очень нужная вещь... У меня еще с тридцать пятого года эта мысль бродит, да только комбайном увлекся...

— Ну что ж? — медленно начал секретарь. — Если выйдет, как с комбайном...

— Конечно, это орешек потверже, но должно выйти, — увлекаясь, перебил его Соболевский. — Должно выйти. Понимаете, Иван Сергеевич, нельзя доводить механизацию одного процесса работы до степени современного совершенства и оставлять другой, рядом идущий процесс в дедовском состоянии. Я плохо объясняю...

— Я понял, — ответил Уткин, — я понял. А вот Зуев даже по поводу уже решенных задач судит иначе. Он говорит: ну что ж, пусть один-два комбайна работают, а наряду с ними (он подчеркнул голосом слово «наряду») и в большинстве своем все-таки будут действовать нормальные проходческие бригады.

— Нет, — твердо сказал Бурцев, — неверно это. Не будут они наряду действовать. Комбайны их вытеснит.

— Вытеснит? — переспросил Уткин.

— Всенепременно, — подтвердил Бурцев: — Вы ведь у себя в горкоме уже не дадите даже самую завалящую бумажку переписывать от руки? Не дадите же? А почему? Машинка есть. Она удобнее, чище, яснее, да и быстрее во сколько раз... Неверно разве?

— Хорошо... — с удовольствием сказал Уткин. — Очень хорошо и правильно... Вы Ленина, товарищ Бурцев, читали?

— Маловато, — смутился Бурцев.

— Вот у Ленина... — Уткин взял со скамейки свой пиджак и полез во внутренний карман. Достав записную книжечку и перелистав ее, он

повторил: — у Ленина в «Что делать?» есть такие слова: «Люди, действительно убежденные в том, что они двинули вперед науку, требовали бы не свободы новых воззрений наряду со старыми, а замены последних первыми...»

— Ну, правильно! — наивно согласился Бурцев.

— Дайте, дайте посмотреть, — жадно попросил Соболевский.

Уткин прочел цитату еще раз. Все помолчали.

— Вот ведь сказано... Все сразу сказано! — задумчиво повторил Соболевский. — Это бы Зуеву показать...

— Не стоит, — мимоходом, равнодушно сказал Уткин, — не стоит. Ему это неинтересно.

Уткин ушел, а Соболевского и Бурцева опять задержали обступившие их шахтеры. Выбравшись, наконец, в коридор, они попали прямо в объятия Самохина.

— Куда ж ты делся, черт? — закричал он Соболевскому. — Я тебя ишу, ишу. Такие новости! Во-первых, твой комбайн за первый же час второй смены дал полметра ухода. Значит, за всю смену будет больше трех с половиной!

— Убью Нахмутдинова! — не то весело, не то огорченно воскликнул Бурцев. — Говорил ему, собаке, не смей...

— Убивай, убивай! Завтра, вот, посоревнуешься с этой собакой, еще увидим, кто — кого... — Самохин улыбался так, как будто его на-

градили. — А, во-вторых, товарищи, Зуев отозван в распоряжение комбината. Победа на всем фронте, а?

— Зуев отозван? — переспросил пораженный Соболевский и вдруг вспомнил интонацию Уткина. — А вместо него кто?

— Угадай.

— Ну, откуда я могу?..

Кто-то подошел сзади к Соболевскому и дружески положил ему руку на плечо. Он обернулся. Крюков, улыбаясь, смотрел на главного механика.

— Платон Васильевич!

— Вот именно, Платон Васильевич, — засмеялся Самохин. — Будешь теперь с новым начальником воевать?

— Не будет, — спокойно сказал Крюков. — Не будет. Мы — вместе. Мы оба — за глубокие горизонты. Не так ли, Петр Иванович?

— О, ч-черт! — начал было Соболевский, но Бурцев с шутовой значительностью перебил его:

— Черти кончились, Петр Иванович. Последний теперь выловлен.

Самохин с удивлением посмотрел на Бурцева:

— Что это значит?

— А вот пускай товарищ Соболевский доложит,

Но Крюков, сняв с руки часы Соболевского и протягивая их главному механику, помешал докладу:

— Ваши часы, Петр Иванович. Вы сегодня, конечно, счастливый и вам не до часов, но... именно через четверть часа начнется наряд. Пойдемте, дружище, и скажите несколько слов на раскомандировке... Несколько слов только. О новом горизонте. О новых машинах. Обо всем новом вообще... Идет?

Соболевский изумленно посмотрел на Крюкова.

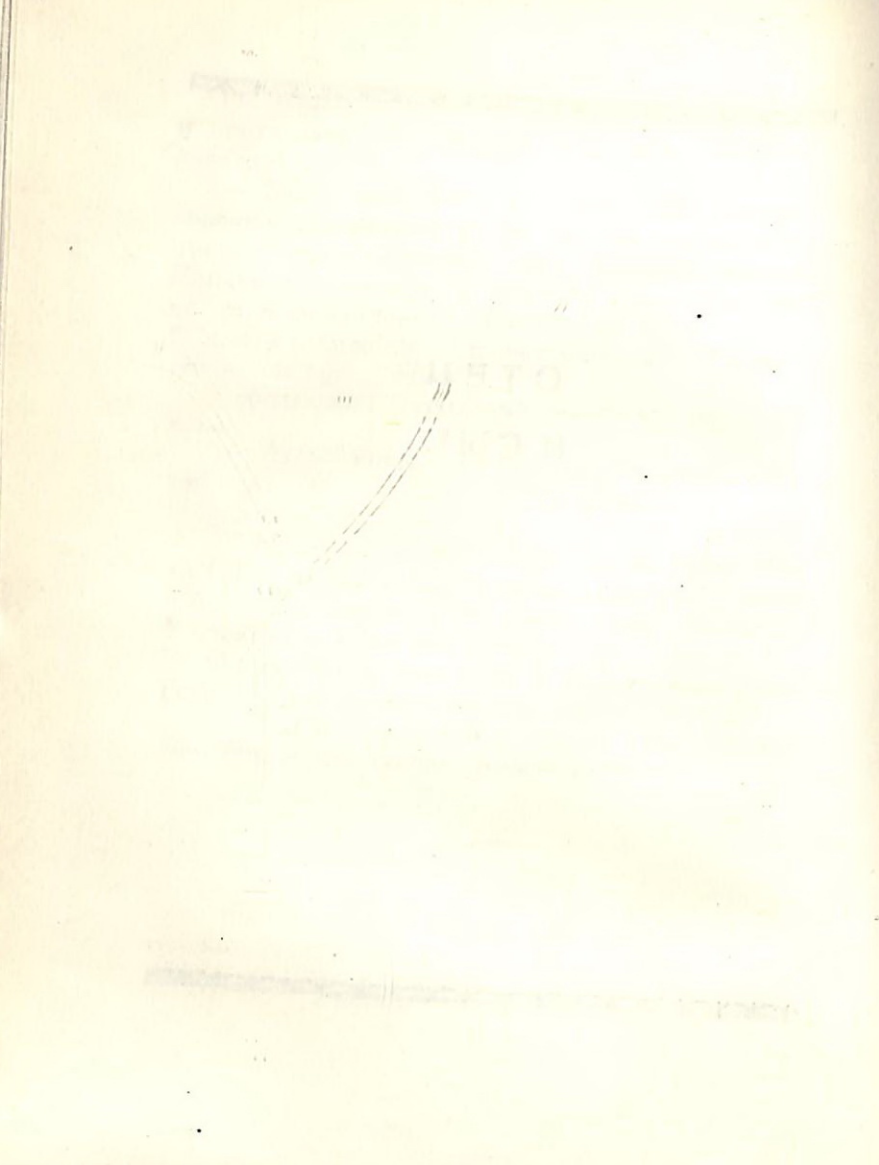
— Да, — поддержал нового начальника шахты парторг, — сегодня, Петр Иванович, тебе придется выступить.

— Но я же не умею говорить, — начал было Соболевский и вдруг согласился: — А, впрочем, ладно, скажу. Я знаю, что сказать... У Ленина в «Что делать?»...

Он запнулся, смутился и поглядел на Бурцева. Но тот быстро, быстро закивал головой:

— Про это, про это и скажи, Петр Иванович. Это у нас сегодня самое главное.

ОТЕЦ
И СЫН



Мы познакомились на совещании в кабинете управляющего трестом. За длинным, покрытым зеленым сукном столом они сидели рядом, изредка понимаяще переглядываясь и переговариваясь.

— Кушнаревы, отец и сын, — сказали мне.

Отец, длинноусый, как запорожский казак с картины Репина, с синими точечками на лице («меченый углем» — по выражению горняков), сидел, откинувшись на спинку кресла и положив на стол протянутые со сжатыми кулаками тяжелые руки. Сын показался мне очень молодым и красивым: каштановые волосы над высоким загорелым лбом, веселые и озорные глаза мальчишки да неизменная улыбка, открывающая два ряда таких ослепительно белых зубов, какие встречаются только в Сибири.

Это и было в Сибири, в сердце Кузнецкого каменноугольного бассейна, в Прокопьевске. Совещание у председателя треста посвящалось одному вопросу — методам повышения угледобычи в третьем году послевоенной пятилетки. Кроме инженеров и начальников шахт были приглашены, как водится, лучшие шахтеры. Один за дру-

гим они вносили рационализаторские предложения и брали на себя деловые обязательства. Я слышала, как старик Кушнарев, уже ушедший на пенсию, выразил желание вернуться на шахту инструктором новичков, кончающих школы фабрично-заводского обучения, а его сын торжественно назвал срок завершения своей личной пятилетки.

Председатель треста уже собирался подытоживать работу совещания, когда отец и сын одновременно и удивительно схожим жестом вынули свои часы. Мне бросилось в глаза, что часы у них не только одинаковые, но и с какой-то одинаково гравированной надписью на золотом корпусе.

— Премии? — полувопросительно подмигнул сосед старика.

— Премии, — с достоинством подтвердил тот и, не торопясь, спрятал часы в карман.

После совещания мы вместе спустились поужинать в столовую треста, и тут я услышала историю Кушнаревых.

Старик тридцать девять лет подряд добывал уголь и очень уважал свою профессию. «Без угля, — говаривал он, — как без хлеба... Уголь — горючее всей жизни».

У него было двенадцать детей — мальчики и девочки различных возрастов и характеров. Впрочем, все они были сибиряки — значит, люди немногословные, упорные и терпеливые. Старик

считался замечательным мастером угледобычи и мечтал, что сыновья будут такими же знаменитыми забойщиками, как он сам. С малолетства все они и в самом деле как будто интересовались ремеслом отца, поочередно спускались с ним в шахту и строили планы, как будут работать с ним вместе. Но шло время, дети подрастали, и каждый находил себе другое дело по душе. Один сын стал учителем, другой — врачом, третий избрал военную профессию, четвертый учился в геологоразведочном институте. Отец молчал, но в сердце копил обиду. Сыновья понимали это, и однажды старший, тот, что стал учителем, решил поговорить с отцом откровенно.

— Не надо сердиться, папаша, — сказал он, — но, видишь ли, в твоё время рабочим сынам приходилось радоваться, если отец мог передать им свое ремесло и поставить возле себя на работу. А нынче все дороги открыты, выбирай любую, какая нравится. И разве тебе, старому горняку, не лестно, что твои сыновья получают высшее образование?

— Так-то оно так, — неуверенно сказал старик, — да только ведь без угля, как без хлеба...

— Правильно, — согласился сын, — но и без педагогов и без врачей не обойтись.

Разговор ни к чему не привел, и старик Кушнарёв был несказанно удивлен, когда самый младший из его двенадцати детей, Виктор, окончив семилетку, вдруг изъявил непреложное на-

мерение идти в шахту. Для отца это было неожиданностью. Приятной? Вряд ли он и сам мог теперь решительно ответить на этот вопрос. Его пугало, что сын отказывается от высшего образования. Сомнения терзали старика: не ленив ли парень? Не боится ли он попросту трудностей ученья? Не надеется ли на легкую славу и длинный рубль за спиной у отца?

Правда, когда Виктор был еще восьмилетним мальчуганом, он упрямо повторял, что непременно станет шахтером. Этому предшествовала маленькая семейная история, которой и приписывали болтовню мальчика. История заключалась в том, что на слете лучших горняков рудника приглашенных позабавили чудом кондитерского искусства — шоколадным тортом, изображавшим шахту. Федору Ивановичу Кушнареву достался кусок с шоколадной вагонеткой. Он принес эту вагонетку домой и при Викторе рассказывал жене, как выглядел торт. «И вы... съели?» — глотая набегавшую слюну, дрожащим голосом спросил мальчик. «Нет, как можно! Тебе оставили! — пряча в усы улыбку, сказал отец. — Вырастешь, станешь шахтером, сам тот горняцкий торт попробуешь». — «Я стану шахтером!» — пообещал тогда Виктор.

Теперь он повторял то же самое обдуманно и упрямо. Братья и сестры отговаривали его. Они даже укоризненно поглядывали на отца, как бы обвиняя его в неожиданном решении Виктора. Но Виктор твердо стоял на своем. Он, рас-

паляясь в споре, доказывал братьям, что нынче подземный труд требует «самое меньшее среднего образования», что техника ежедневно совершенствуется, что именно из-за недостатка образованных шахтеров подземная механизация медленно проникает в забой и в лаву, что он намерен добывать уголь новейшими методами и быть передовым, новаторствующим рабочим. Отец слушал эти разговоры молча. И чем больше говорил Виктор о новой горняцкой технике, тем мрачнее поглядывал на него отец. «Шахты еще не видал, а туда же... рассуждает!» — неприятно думал старик.

Шла война. На руднике больше чем когда-либо нехватало рабочих рук, и Виктор не сомневался, что его немедленно зачислят в любую, а тем более в отцовскую бригаду. Но сверх всяких ожиданий отец наотрез отказался учить сына; то ли побоялся своей отцовской снисходительности, то ли не захотел брать на себя ответственности за будущее юноши, то ли, наконец, усумнился в том, что из сына выйдет первоклассный горняк. Причин старик не объяснял, но сходил к начальнику шахты и попросил сына на Макассеху вообще не принимать.

Это было обидно. Однако Виктор недаром происходил из рода Кушнаревых. На обиду он никому не пожаловался, а пошел на соседнюю шахту того же треста — «Верную гору». Там восемнадцать лет подряд работал друг-приятель его отца — Степан Герасимович Давыдов.

— Возьмете к себе? — коротко осведомился юноша.

Давыдов критически осмотрел парня, почесал переносицу.

— Что, отец не берет?

И взял. Приятельство-приятельством, но Давыдов не забывал, что благодаря старику Кушнареву шахта Макасеиха не раз захватывала первенство в соревновании по тресту. «Выращу-ка я своего Кушнарера для нашей шахты... Не может быть, чтоб от такого семени да плохой забойщик вышел...» — объяснял потом Давыдов товарищам свое решение.

Очень скоро обнаружилось, что у Виктора действительно настоящий «забойный талант». Ему — не прошло и полугода — доверили руководство комсомольско-молодежной бригадой. Давыдов не преминул первым доложить об этом старому другу, но Федор Иванович ничего сыну не сказал. Когда потребовались машинисты новых бурсбоечных машин, сконструированных одним из Прокопьевских инженеров — Могилевским, опять-таки выдвинули Виктора. Он с азартом взялся за освоение нового механизма. Отец неодобрительно хмыкнул: «Не дело это для забойщика по пустой породе итти. Уголь надо рубать, вот что...» Сын выслушал молча. Вскоре затем старика наградили орденом Ленина. Виктор, как подобает, поздравил отца.

— И тебе того желаю, — сдержанно ответил Федор Иванович.

Они продолжали трудиться каждый на своей шахте.

В первый послевоенный год старик почувствовал, что здоровье его начинает пошаливать. Врачи настоятельно советовали ему уйти на пенсию. Сыновья хором требовали того же.

— Оно, конечно, пора, да шахты жалко, — то-скливо вздыхал старик, — тридцать девять лет, как один денек, отработано... И кому, например, я свой инструмент передам?

В жалостливых разговорах об инструменте сквозили наивная хитрость и упрек, адресованный Виктору. Освоив буросблочную машину и научив управлять ею нескольких, таких же молодых ребят, как он сам, Виктор вернулся к непосредственной добыче угля. Но после работы на сложном механизме отбойный молоток показался ему малоинтересным. На шахту привезли врубковую машину. Врубками в Кузбассе пользовались мало: считалось, что по местным условиям горных выработок они неприменимы. Однако наиболее прогрессивные инженеры оспаривали это ходячее мнение. Виктор знал о бурных технических спорах. Он выпросился на курсы вруб-машинистов и первым на своей шахте стал работать на врубке. «Несолидный парень, — сказал отец, — мечется, мечется, сам не знает, чего ему надобно... Ты вот на молотке покажи себя как следует, а не хватайся за что попало!» Сам Федор Иванович лет пятнадцать назад с большой оглядкой сменил кайло на отбойный моло-

ток. Нелегко ему было переучиваться, но, убедившись, что «кайлом молотка не перешибешь», он принял этот механизм на вооружение. А раз приняв, освоил его до совершенства. И теперь к молотку своему относился, как к живому существу: «Кому ж я его передам?»

Уже были оформлены документы на пенсию, уже в шахтоуправлении подготовили Федору Ивановичу торжественные проводы, а он все тянул и тянул с расчетом.

И вот в эти дни состоялся на руднике очередной, ежегодный слет лучших, заслуженных шахановцев — мастеров угля. Трест премировал своих выдающихся шахтеров.

В огромном зале горняцкого Дома культуры собралось несколько сот человек. Гремели медные трубы оркестра.

Первым зачитывался список премированных по шахте «Верная гора».

— «...Наградить золотыми именными часами бригадира забойщиков Кушнарера, В. Ф.», — читал со сцены управляющий трестом.

Старик приподнялся было с места, хотел выйти из ряда и вдруг, растерянно оглянувшись, сел. К трибуне легкой походкой уже шел его сын, веселый, озорной Витька с непокорным чубом каштановых волос над загорелым лбом.

— Только я теперь уже не бригадир забойщиков, а врубмашинист, — улыбаясь, сказал он не то президиуму, не то собравшимся в зале.

Отец с забившимся сердцем увидел, как сын принял из рук управляющего часы с гравированной надписью на корпусе и, поклонившись, пошел обратно.

Через несколько минут, когда сердцебиение слегка улеглось, он вновь услышал голос управляющего:

— «...часами бригадира забойщиков Кушарева, Ф. И.»

— Тебя, Федор Иванович, тебя! — зашептали вокруг, подталкивая старика к трибуне.

Домой отец и сын возвращались вместе. Они шли по центральной улице города, мимо огромной витрины с портретами лучших стахановцев рудника. Отец искоса бросил взгляд на витрину: рядом с его собственным портретом, который он уже давно привык видеть на этой витрине, прямо ему в лицо сверкнула ослепительная улыбка сына.

— Вот ты и попробовал того торта, сынок, — задумчиво сказал старик.

Сын рассмеялся.

— Хороша была вагонетка, папаша, а нынче премии стали лучше, — беззаботно ответил он, и оба, как по команде, вынули свои одинаковые часы.

...Я выслушала эту историю залпом, как пьют прозрачную родниковую воду, сидя за ужином в маленькой столовой угольного треста.

— А... когда же вы, Федор Иванович, ушли на пенсию?

— На следующий день после того слета и ушел, — спокойно ответил он и, помолчав, добавил как бы в объяснение: — убедился.

Виктор, слегка прищурившись, смотрел куда-то поверх наших голов, словно речь шла не о нем и не о его скрытой борьбе со стариком.

— А все-таки не стерпели, возвращаетесь на шахту?

— Душа требует, — развел Кушнарев руками, — вон молодежь намерена досрочно свою пятилетку выполнить, а я не шахтер что ли?

На минуту снова воцарилась тишина, и, словно ставя точку, старик закончил:

— Молоток-то, он еще свое не отжил! Он, голубчик, еще столько угля даст... Вот поучу молодых, может среди них какой новый Кушнарев обнаружится?.. Все государству польза.

ОБЫКНОВЕННАЯ
ИСТОРИЯ

(Очерк)



— Неяскин, Василий Федорович! — громко сказал главный инженер.

По рядам собравшихся пробежал шепоток, но никто не вышел. Держа в левой руке список, инженер близко подносил его к глазам, боясь, видимо, пропустить чью-либо фамилию. Правой рукой он, не глядя, шарил по столу, нащупывая очередной значок отличника.

— Неяскин, — повторил инженер, опустив список и вопросительно посмотрев вокруг.

У двери зашевелились, расступаясь и пропуская кого-то. Рыжеватый невзрачный человек протиснулся вперед.

— Здесь!

Он отозвался с военной бодростью. Пар вырвался из его рта при этой короткой реплике. В комнате было очень холодно: накануне лопнул один из трех котлов паросилового хозяйства шахты, и левое крыло шахтоуправления не отапливалось вторые сутки.

За окном стояла обычная сибирская погода: ветер, пурга—кузбасский февраль. Этого не было видно сквозь замерзшие до верху окна кабинета начальника шахты, но люди в коридоре долго

топтались и отряхивали снег, прежде чем войти. Лагунов, главный инженер комбината, приехавший по поручению министра вручать значки отличникам социалистического соревнования, был откровенно зол и мрачен. Его раздражало все: и то, что нарушена торжественность церемонии, и то, что начальник шахты — полный, высокий мужчина с одутловатым лицом чиновника, засидевшегося в кабинете, озабоченно угодлив, а больше всего то, что авария котла грозит невыполнением плана.

Все утро Лагунов провел под землей. Он накричал на начальника шахты за его дырявые резиновые сапоги, которые тот любезно уступил гостю.

— Вы знаете, что значат эти дыры? — яростным голосом попытывался Лагунов. — Думаете, я не понимаю? О-очень понимаю! Эти дыры значат, что вы в шахте не бываете, милейший! Не бываете! Человек, который работает под землей, дырявых сапог не потерпит. А ваши для видимости существуют, вот как!

Он вернул сапоги начальнику шахты, надел чьи-то другие, а начальника заставил надеть эти дырявые и добрых четыре часа подряд таскал его из лавы в лаву.

Когда они поднялись на поверхность и мылись в технической мойке, как называли на шахте раздевалку для инженерно-технического персонала, к Лагунову подошел голый человек.

— Разрешите обратиться? — скороговоркой сказал он. — Я начальника не защищаю, за ним грехи есть, но насчет сапог вы напрасно. Начальник в шахте каждый день бывает. А сапоги, может, только вчера прохудились...

— Да вам-то какое дело? Кто вы такой? — раздражаясь, крикнул Лагунов.

— Я забойщик, — спокойно ответил человек, — бригадир забойной бригады Неяскин. Мое дело тут, конечно, маленькое, но я справедливость люблю...

— Да брось ты, Неяскин, — ворчливо сказал кто-то невидимый за облаком горячего пара, и Неяскин тотчас растаял в этом облаке.

Теперь Неяскин в шахтерской каске с тускло горящей при дневном свете лампочкой пробирался к столу, и Лагунов тотчас вспомнил утренний разговор в мойке.

— Поздравляю вас, Василий Федорович, — с любопытством разглядывая Неяскина, сказал он и протянул значок.

Неторопливо приняв значок, Неяскин переложил его из правой руки в левую и с обстоятельностью, которая очень подходила ко всему его облику, пожал руку главного инженера.

— Разрешите ответить? — спросил он.

Лагунов поспешно кивнул, и тогда, повернувшись к собравшимся горнякам, Неяскин с чувством заговорил:

— Очень приятно, товарищи, получить этот значок. Мне на фронте орден и медаль вручали,

очень лестно было, но там дело иное. Там другой раз и не успеешь заметить, как в пылу боя отличился. А тут опять иное дело. В один день тут ничего не выйдет. Надо придумывать, надо стараться, чтоб изо дня в день, из месяца в месяц...

Он медленно и раздумчиво повторил последние слова. Потом, словно спохватившись, что не совсем ясно выражает свои мысли, закончил:

— Я, товарищи, до крайности горжусь этим значком и обещаю в дальнейшем работать не хуже.

— Ты конкретно про свои обязательства скажи! — крикнул от двери Быковский, парторг ЦК ВКП(б) на шахте.

— Что ж говорить, их все знают, — степенно ответил Неяскин, — обязался закончить свою пятилетку в три года и выполняю. У меня все подсчитано. Можно бы и в два с половиной, да сами знаете, как у нас с лесом. Но в три закончу.

Ему дружно захлопали, видно было, что хлопают от души. Он вдруг застеснялся и со счастливым, растроганным выражением лица стал протискиваться обратно к двери. Значок он нес в поднятой руке, как нечто хрупкое и драгоценное.

Вечером Неяскин пришел в партком. На нем уже не было ни шахтерской каски с лампочкой, ни грубой, колом стоящей брезентовой спецовки. Новенький значок сиял на отвороте пиджака. Волосы у Неяскина были аккуратно приглажены,

неловко повязанный галстук почему-то бросался в глаза.

— Садись, Василий Федорович, — пригласил парторг и, приглядевшись, пошутил: — какой ты у нас сегодня праздничный!

— Точно, — как будто обрадовавшись, подтвердил Неяскин, — точно: праздничный.

Парторг с легким недоумением взглянул на забойщика. Было немного странно, что этот степенный тридцатипятилетний человек так обрадовался значку отличника.

Вероятно, Неяскин догадывался о мыслях парторга.

— Удивляешься, Николай Петрович? Должно быть, думаешь: вот чудака-человек... А я бы тебе объяснил, да это разговор длинный...

Он говорил нерешительно, но по всему было видно, что ему хочется высказаться и, может быть, самому себе уяснить нечто очень сокровенное, деликатное, не укладывающееся в привычные рамки. Быковский понял.

— Ну и что ж, если длинный? У меня вечер свободен, поговорим!

Он зачем-то передвинул настольную лампу и вынул папиросы.

— Поговорим? — задумчиво переспросил Неяскин, — ладно, давай поговорим... Я затем и пришел, Николай Петрович, чтоб разговаривать. Ты не думай, у меня ничего такого, никакого там пятна или другой грязи на сердце нет. Мне именно поговорить хочется. Я сегодня всю свою

жизнь передумал... из-за этого значка, — добавил он после паузы, осторожно касаясь отворота пиджака. — Маленькая штучка, а много значит...

Он опять помолчал.

— Я тебе, Николай Петрович, хочу свою жизнь рассказать, хорошо?

— Хорошо, — все больше недоумевая, согласился парторг.

— Вот я член партбюро, агитатор на участке, бригадир стахановской бригады и все такое прочее, — медленно начал Неяскин. — Можно ли про меня сказать — кадровик? Кадровый шахтер рудника... Можно?

— Безусловно, — подтвердил Быковский.

— Очень хорошо, — обрадовался Неяскин, — я и сам так думаю, — наивно добавил он. — Но как же я стал кадровиком, а? Когда это я им стал? Сегодня? Нет. Полгода назад? Тоже нет. Пять лет или восемь лет? Я же пастух был, простой пастух...

— Ну и что же? — перебил Быковский. — Подумаешь — из пастуха в забойщики! Самое обыкновенное дело. У нас в СССР от пастухов до министров доходят...

— Э-э, нет, погоди, — остановил его Неяскин, — не о том речь. Я сам знаю, как у нас в СССР... Нет, но когда же это, в какой день произошло? Почему я сам не заметил? И как я перестал неудачником быть?

— Неудачником? — хмурясь, переспросил Быковский. — Это что же за определение такое — неудачник?

— А вот послушай... Ты мою анкету читал не раз, но все равно в анкете этого не напишешь. Мой отец был неудачник, и мне то же самое про- рочили. Родился я в канун той германской вой- ны, в 1913 году, в селе Ново-Михайловка, Ал- тайского края. Жили беднее бедного и после революции не поднялись. Там места хлебород- ные, но отец, видать, плохой хлебороб и темный человек был. Ничего, в общем, у него не получа- лось, да и земли своей, кажется, у него не было. И вот помню, снялись мы однажды с места и зи- мой на лошадях двинули через тайгу искать счастья. Ночевали под елками, грелись у кост- ров, а ехали всей семьей в кибитке, поставленной на сани. Теперь такие фургоны для перевозки печеного хлеба бывают. Долго ехали, к весне остановились в селении Башты. Степь вокруг, простор... Дожили до половины лета. Отец ходил на рыбалку, мать пряла, а мы с братом и с се- строй возле них, как слепые щенята... Брат, тот постарше меня был. Потом опять тронулись с места и не мы одни: прошел слух, что где-то под Минусинском переселенцам дают землю и полное обзаведение. Я все это смутно помню, может, да- же больше по рассказам. Но вот что врезалось в память — это переправа через реку Абакан. Лошадей распрягли, пустили их вплавь, а телеги погрузили на огромнейшие лодки. И почему-то

мне велели лечь на дно такой лодки, под нашу телегу. А река широкая, быстрая. Добрались до середины, течение стало относить лодку, телега заходила ходуном. Мать на берегу как закричит, как заплачет: погиб сын! И тут я впервые услышал это слово: неудачник.

— Неудачники мы, несчастные, нигде нам покоя нет...

Это мать так кричала. Но все-таки лодка вы-
правилась, кое-как мы пристали к другому бере-
гу. Я тогда, помнится, ко всем совался:

— Что такое «неудачники»?

Но никто мне не объяснил.

В общем доехали мы до села Бея, там и осе-
ли. Конечно, все слухи о даровой земле и о даро-
вом крестьянском обзаведении для переселенцев
оказались чистой ерундой. Много мы горя хлеб-
нули; и в сараюшке каком-то жили, и у лесниче-
го в домике, и еще не знаю где. А отец все не
мог пристроиться. Горько вспоминать, уже ведь
советская власть начиналась, а он христарadni-
чать ходил. А село Бея очень богатое. И вот
опять я услышал это слово:

— Неудачник!

Впрочем, кажется, бейские мужики отца не-
задачливым звали. Незадачник! Но я тогда как
пешка был, ничего не понимал. Спросил у мате-
ри:

— Почему отца незадачливым зовут?

А она в слезы. Потом отхлестала меня какой-
то веревкой, чтоб не спрашивал. А в конце кон-

цов обняла, прижала к себе и с такой-то тоскою выговорила:

— Незадачливые — значит, нет нам удачи, не написано на роду счастья.

Она глубоко верила, что, дескать, у каждого человека своя судьба и этой судьбы не обойдешь, не объедешь. А я все допытывался: «Кто же не написал нам счастья?» И только ее опять обозлил.

Прожили мы в Бее три, не то четыре года. Там и школа была. Я выпросился, чтобы отдали меня учиться. Но ходить мне в школу было не в чем — разут, раздет. Валенки чьи-то брошенные подобрал с огромного мужика и дырявые. Ну какое при таких обстоятельствах учение? Три зимы все начинал, похожу-похожу и брошу. А с весны отец нанимался пастухом и меня с собой уводил. Отца охотно в пастухи брали: он был добросовестный, гонял скот на хорошее пастбище. Мать нанималась зимой стирать к хозяевам побогаче, летом на чужих пашнях работала. Тут брат подрастать стал, уже сам работал: то дрова наймется колоть, то еще какое дело найдет. И в конце концов уговорил мать возвращаться на Алтай.

Страшно вспомнить теперь, как глупо жили; времени не берегли, ни к чему дельному не стремились: день прошел и ладно.

Мне еще не было семнадцати лет, как меня женили. Да, да, вот вам этому поверить трудно,

уже двенадцатый год советской власти шел, а меня по сговору, почти насильно, обкрутили с соседской девушкой, моей однолеткой. Это матери еще в нашем младенчестве условились нас переженить. И опять смешно вспомнить, чем меня мать запугала: «Женись, говорит, на Елене, а то ни обшивать тебя, ни стирать тебе не буду и можешь совсем из дому уходить». А Елена была красивая, видная собой и из богатого дома. Парни ей прохода не давали. Я ничего тогда не понимал, не человек — чурка с ногами и руками был. Мне казалось: «Чего такой девке за полуграмотного пастуха итти?» Потом-то понял: ее мать мою оплела. Коллективизация начиналась, им раскулачивание грозило, и они думали через эту свадьбу спастись. Елена, впрочем, и сама в их руках была, как пешка. В два дня все устроилось, и нас оженили.

А я и теперь невелик ростом, тогда же совсем замухрышка был. Выйду на улицу, мне кричат: «Эй ты, мужик!» У нас мужиками всех женатых звали... Кричат, значит, а я не знаю, куда от стыда деваться. И верите ли, возненавидел за то Елену. Товарищи мои начали в комсомол вступать, а у меня камень на шее: жена-кулачка! Елена-то сама ничего кулацкого в себе не имела, но разве я разбирался тогда? Да и она своих чувств и мыслей объяснить не умела. Глухие и темные мы были.

Моя мать в колхоз подалась, а я сунулся — мне говорят: «Ты же кулацкий зять. Чего тебе

в колхозе делать?» А я к своим тестю с тещей и в гости не заглядывал. Совсем я тогда затосковал.

И вот случись такое дело: приехал в наше село один шорник и понравилась ему моя Елена. Начал он ее сманивать. «Хочешь, говорит, я подряжу твоего Василия свезти меня в Город-Сад?» — тогда у нас так нынешний Сталинск начали называть, а мы и не знали, конечно, что это через поэта Маяковского пошло... Так вот, предложил он ей, что подрядит меня за хорошие деньги свезти его в Сталинск, а по дороге убьет и за ней вернется. Елена — в слезы, да возьми и расскажи все это моей сестре, а та — мне. И стало мне после этого окончательно невтерпех. Опять я Елены не понял, решил, что она извести меня хочет. А она уже на сносях ходила и в скором времени родила. Но меня и дочка в ту пору не удержала, я решил из деревни уезжать. Куда, спросишь? На производство.

Конечно, я тогда и объяснить не мог, что это такое — производство. Но молодежь нашу уже новый ветер обдувал, все словно сызнова родились. То была осень 1931 года, и вот даже до нашего медвежьего угла донеслись слухи про новостройки. Первая пятилетка шла. Сам бы я, может, не решился, но из нашей Ново-Михайловки ребята собирались в путь, и я к ним примкнул. Они-то холостые, а я...

Двинулись. Решили ехать в Ленинск-Кузнецкий на шахты. Опять-таки никто из нас толком не знал, какая она есть — эта шахта. Одно было

известно: там из-под земли добывают уголь, вроде камня, а камень этот горит.

Мать меня провожала странно. Сама же, вот, оженила чуть не ребенком, а тут вроде обрадовалась: «Езжай, сын, может судьбу свою найдешь!»

Но до Ленинского рудника мы не добрались, денег нехватило. Попали на прииск Челсай, это в семидесяти километрах за Спасском. Дичь, глушь — ни школы, ни больницы, хуже нашей Ново-Михайловки.

Поставили нас на подсобную работу — дрова возить. Я смотрю: какое же это производство? Но молчу. Продукты выдали на месяц вперед, и все — мукой. Мы одну тетку подрядили, чтоб она нам из той муки хлеб пекла. А она, наверно, добрых две трети разворовала. Хватило нам хлеба ровно на полмесяца. Что делать? Взяли расчет, пришлось по сорока рублей на брата, и пешком пошли домой. Шли днем и ночью. Мои парни шагают, как ни в чем не бывало, а я словно на казнь иду. До того мне стыдно было, не рассказать.

Пришли. И сразу же:

— А, производственник!

— Производственнику почет и уважение!

— Ну как там производство поднимали? Со всем уже подняли или еще осталось?

Я, конечно, отмалчивался, а в душе у меня кипело. Однажды ночью проснулся, слышу мать с сестрой разговаривают:

— Он в отца, — это мать говорит, — такой же неудачник, ни к чему не способный.

А сестра поддакивает.

У меня даже в глазах потемнело: так докажу же я вам свои способности! И твердо решил: нет, уйду, не может того быть, чтоб я своей судьбы не нашел.

На этот раз уж я сам товарищей подбирал. Пятеро нас собралось. Отправились. Ехали в пустых товарных; по ночам в вагонах костры на кирпичках разводили и грелись. Доехали до Старо-Кузнецка. Там наш товарный состав расформировался. Зато оттуда пассажирский шел. Купили билеты, сели, спрашиваем: «Ленинск скоро»? Говорят: «Успеете выспаться». Мы и залегли на багажные полки. После товарного-то удобно показалось. Проснулись... в Топках. Ленинск позади, за девяносто километров остался. Что делать? Денег у меня одного несколько рублей осталось, а у других — ни копейки. Ребята меня за руки хватают: «Не бросай нас». — «Ладно, говорю, не трус!» Видим, все на Кемерово билеты берут, и дешево — не то по два, не то по рубль восемьдесят. «Айда, думаю, в Кемерово!» Подошел к кассе, в окошечке — кассир старичок. Говорю ему: «Скажите, гражданин, в Кемерове шахты есть?» — «А как же! Да еще какие!» — «Ну так давайте в Кемерово!»

Приехали ранехонько. Целый день ходили по городу, а никаких шахт не видно. Стало темнеть, осень уже совсем поздняя была, снег, ветер. Мы

озябли, а ночевать никуда не пускают, это тебе не деревня. Наконец, в одном доме сжались.

Впустили, расспросили, да еще и посоветовали: «Идите, ребята, завтра с утра пораньше через реку по льду на правый берег. Там рудник, а на шахтах люди всегда нужны».

Этой ночью я, несмотря на усталость, спать не мог. Все думал: какая же она, шахта, окажется?

На следующее утро пошли. Лед еще не очень крепкий был, разводьев много, но ничего, благополучно перебрались и прямо с ходу очутились на шахте «Центральная». Направили нас в личный стол. Оглядел нас какой-то гражданин, два-три вопроса задал и говорит: «Ладно! Вас, ребята, приму, а вот его (это на меня!) не могу. Мал еще на шахте работать!» Мал! А я уже муж, отец... Но сказать это постыдился, начал упрасивать, а в голове одна мысль: «Неудачник я, неудачник, весь в отца!..»

Не знаю уж, как я этого гражданина упросил. Взяли меня дворовым: открывать коногону дверь, когда он с полным вагончиком едет. А товарищей поставили глиной вентиляционные трубы обмазывать. Смешно теперь сказать, а я им до слез завидовал!

Зарабатывал я рублей сорок — пятьдесят в месяц. Жили в общежитии, ели в столовой — целковых двадцать на это уходило, не больше. А на остальные деньги одежонку покупал: сперва

брюки, потом пиджачишко суконный, а там и сапоги купил. Сапогам больше всего радовался.

Тут открыли на шахте запись на десятимесячные курсы машинистов подъема. Пошел я в шахтком: «У меня образование низшее, возьмут?» Предшахткома головой покрутил: «Читать можешь? — «Могу». — «Ну, попробуем». И вот начал я учиться...

Прожили мы так зиму. Я двери открываю и на курсах на машиниста учусь — попросту сказать, на клетьевого, а ребята мои глиной трубы мажут. Тут подоспела весна. Выйдем, бывало, на берег: уже и Томь пошла, теплом веет, с высокого нашего берега видно, как на левобережье поезда идут, гудки паровозные доносит ветром. И поманило моих товарищей обратно, домой: едем да едем! По совести сказать, весна и меня сбивала. Привык летом на поле быть. Но домой — ни за что! Уехали они, а я остался. Лето проработал, приходит отпуск. Куда податься? В шахткоме говорят: «Бери путевку в Верхотомский дом отдыха...» А что это такое дом отдыха, я понятия не имел. Но вижу — другие не отказываются, взял.

Первые дни, как очумелый ходил. Кровати с сеткой, на простыни боязно ложиться — до того белые, в столовой официантки с кружевными наколками, каждый вечер кино... Я спать ложился, а заснуть не мог: «Неужели, — думаю, — это тебе, Василий Неяскин, такое житье привалило? Сюда бы мать — вот подивилась бы...» Даже хотел

письмо написать, но потом раздумал: все равно не поверят, еще вруном на деревне ославят.

А в доме отдыха я познакомился с одним лебедчиком шахты «Диагональная», очень душевный человек. Мы с ним крепко сдружились. Он, между прочим, перед тем как уезжать, спросил мой адрес. Я объясняю, что живу в общежитии. «Хорошо, — говорит, — буду знать. А вообще, если надоест общежитие, переезжай ко мне. Мы с мамашей вдвоем проживаем, и у нас просторно...» Я поблагодарил, но даже в голову мне не приходило, как скоро воспользуюсь этим приглашением.

Кончился отпуск, вернулся я на шахту и сразу — в КРО... Странное словечко: КРО — комбинат рабочего образования... Проучился год, до следующего отпуска, и стал опять проситься на другую работу. Хоть бы в самом деле клетьевым поставили, ведь я те курсы кончил... Нет, никуда из дверовых не переводят! Обозлился я тут, пошел к начальству:

— Давайте в таком случае расчет.

Поспорили немного, но дали. А я того не учел, что ведь и из общежития погонят. Пришел, как всегда, ночью, а моя кровать уже другим занята. Я — к коменданту. Тот руками разводит: «Есть приказ о твоём увольнении».

Ну, плюнул я на него, ушел из общежития и всю ночь по берегу реки проходил. Утром отправился к тому лебедчику из дома отдыха, Иван Ванин его звали. Он очень обрадовался,

— Вот и хорошо, — говорит, — жить будешь у нас с мамашей, а работать пойдешь на «Диагональную». Тащи, — говорит, — пока свои вещи, потом в шахтоуправление сходим.

Пришли туда. Опять в личный стол. Опять какой-то дядька поверх очков меня разглядывает.

— У нас, — вздыхает, — легких работ нету. Только на отгребку.

Я даже немножко захлебнулся от радости:

— А вот-вот, я и хочу на отгребку.

Оформился. Сначала лес таскал к забоям, недели две так; горный мастер все присматривался. Наконец, перевел на отгребку. Тогда еще электровозов в помине не было, одни коногонны... Меня поставили под семьдесят восьмую печь... По ней спускали мокрый уголь с трудного участка — там капёж был, прямо сказать — сплошная вода, и никто этот уголь брать не хотел. Но я, конечно, всего этого не знал. Начал работать, стараюсь изо всех сил. Тяжеловато было, но я думал, что это мне из-за моего малого роста... Один раз, только мы поднялись на-гора, двое здоровенных ребят дорогу преграждают. «Стой, — говорят, — это ты у семьдесят восьмой печи стоишь?» — «Я». — «Чего ж ты, сморчок, так и так, делаешь?» И еще пару словечек для вразумления. Я глазами хлопаю, ничего не могу сообразить. Они опять ругаться. В общем, пригрозили из меня рубленую котлету сделать, если

не перестану, и ушли. А чего надо переставать, я так и не понял.

Пришел домой к Ивану Ванину, рассказал. А он, должен сказать, партийный был. Так вот, я ему рассказываю, а Иван даже побелел от злости. «Ах, мерзавцы, ах негодяи...» и пошел, и пошел... Потом успокоился, разъяснил: на шахты много всякого сброда стекается, из раскулаченных, и вообще. Идут за длинным рублем, а работать по-настоящему не желают и другим не дают, чтоб их легкие нормы не повысили. И еще агитацию разводят: дескать, дураков работа любит и всякое подобное. Ну и находятся люди, которые их слушают. А для государства это, конечно, прямой вред...

Тут мне Иван Ванин прочитал целую лекцию о социалистическом хозяйстве и о производительности труда. Я, разинув рот, слушал. Вот жил-жил, а никогда не задумывался насчет того, как это у нас все устроено. Знал, конечно, что не на хозяина работаем, а глубже не вникал. Ванин мне точно глаза открыл.

— Ты, — спрашивает, — что про пятилетку знаешь?

— Ну, — говорю, — знаю, что ее надо в четыре года выполнить.

— Правильно, надо. А как?

Я молчу. Черт его знает, думаю, как это надо сделать. Без меня, наверно, знают и сделают. Но оказывается, по мнению Ванина, без

меня нельзя было обойтись. Привязался он ко мне:

— Да ты ударник или нет?

А какой я мог быть ударник в дверовых? Чаше, что ли, двери открывать, чем коногоны ездят? Так это ни к чему. Я ему так и объяснил. Но он не унялся. Назавтра пришел вместе со мной к десятнику:

— Вот этот, — говорит, — парень хочет в ударники записаться.

Десятнику это понравилось. Перевел он меня на уступ. А там еще двое отгребщиков. День мы все трое провалялись, а назавтра я в нарядной подхожу к десятнику:

— Сергей Тимофеевич, зачем вы троих туда посылаете, когда я один могу справиться?

Помню, он прищурился слегка, подумал и — выписал наряд на меня одного.

Тут пошла горячая работа. Но я про себя все обдумал: едва запальщики отпалят, забойщики только-только начинают разбуривать, даже другой раз еще и лес крепят, а я уже не дожидаясь — отгребаю. Лопату выбирал себе легкую, шуфельную, по руке. Потом догадался настилать к уступу рештаки; по рештакам уголь куда легче до качающего конвейера идет. Тогда уже появились у нас качающие конвейеры. По конвейеру уголь в спускную печь бежит как бы сам собой. Вот так я работал, да еще успевал иногда по этой печи вниз, на основной штрек спуститься. Особенно, когда люк печи уже пол-

ный, а коногоны уголь все не берут. Почему не берут? Я нетерпеливый, мне надо сейчас же узнать. Вот и спускаюсь. А у них там вагончик забурился или еще какая-нибудь неустойка, так я и им помогал.

Дня три прошло, а может неделя, и вот на пересменке в нарядной слышу — мои коногоны пытаются десятника:

— Сколько у тебя там отгребщиков стоит?

— Да один, — говорит, — всего один.

Не поверили. Приходили проверять. Говорят:

— Не отгребщик, а машина.

Через месяц меня Иван Ванин поздравил:

— Ты теперь настоящий ударник.

Месяца три я проработал на отгребке, и стали забойщики звать меня к себе в ученики. Очень мне это показалось лестно и, конечно, я — с превеликим удовольствием. Попал я к Великжанину, к тому самому, что теперь на нашей шахте «Южная» начальником восьмого участка. А тогда он еще простым забойщиком был.

Он хорошо меня учил, на совесть, и мы крепко подружились. Вскоре Великжанин доверил мне бурение. А тогда бурили не как теперь, не с почвы. Тогда бурили с подмостков, считалось удобнее. Ну, вот, однажды соорудил я себе подмости, метра в полтора, если не в два высоту — я же ростом маленький — и бурю. Электросверло в ту пору было нашим инструментом. Отбойным молотком еще не работали.

Бурю, значит, в верхнем уступе, а на кровлю и не гляжу. Молодой был и неопытный: осторожности нехватало. Вдруг — хлоп, бац — грохот, шум. Кусок кровли отвалился, полетел на мои подмостки, проломил их, конечно, и я с самого верхнего до самого нижнего уступа кувырком! Метров девять летел. Но ничего, удачно упал, без повреждений. Поднимаюсь — цел. Надо карабкаться наверх. Полез, и вверх, конечно, опять не смотрю. А электросверло мое не выключилось, бур продолжает работать. И вот, пока я лез, оно, проклятое, мне навстречу — прыг-скок. Да как саданет рукояткой по лбу! Недаром забойщики эту рукоятку бараном зовут. Истый баран боднул! А Великжанин с другими это все видели и давай хохотать. Я только и успел услышать, как они закатились, и — без памяти навзничь.

Потом уж узнал, что тут целый переполох поднялся. Они-то ведь думали, что пустяки, да и, конечно, смешная была картина, как мой баран за мной ринулся.

Ну, увезли меня в больницу, швы наложили. Через три дня пустили ко мне Великжанина. Я его за дверью увидел. Чудной такой, в белом халате, стесняется, на носки ступает. А как взглянул на меня — опять закатился. «Бодается, говорит, баран-то?» Только уж потом догадался спросить, как здоровье.

Провалился я дней десять и вышел. Ванин, тот очень беспокоился, как бы я к шахте отвраще-

ние не приобрел. Говорят, после всяких неприятностей такие случаи бывают. Но у меня ничего похожего не наблюдалось. Наоборот, я за эти десять дней здорово по шахте заскучал.

Вернулся обратно на ту же работу и в свою бригаду. Тут Великжанин, помню, с нами серьезный разговор имел — он бригадиром был. «Все, — спрашивает, — учили урок Неяскина?» Ну, кто головой мотнул, кто словесно подтверждает, а он — упрямый мужик — свое гнет:

— Нет, пусть Неяскин сам объяснит, в чем его вина!

Я растерялся: какая же, думаю, вина, когда я сам пострадал?

Великжанин видит, что я молчу, усмехнулся:

— Осмотрительности не проявил — вот какая вина. Если б был осмотрительным, то заметил бы в кровле трещину и откайлил бы этот кусок породы спокойненько, без аварии. А теперь на нашей бригаде — тень. Завтра, чего доброго, скажут, что только за заработками гонимся и алданить готовы, крепим плохо...

А я, правда, тогда уже до трехсот рублей в месяц выработывал, да и сам Великжанин в один месяц четыреста шестьдесят отхватил. Это большим заработком считалось. Но, конечно, хищничать, алданить у нас никто не помышлял, работали серьезно, как полагается.

Было все это в самом начале 1933 года. А весной меня переселили в Дом ударника. Хорошее общежитие отстроили, со своей кухней и

Однажды бурил я крепкий уголь. С крепким углем всегда неожиданности. Только вставил два шпура — обвал! Весь слой ушел; мало того, что уголь, но и крепление под ним. Образовалось огромное поле. Кровля каждую минуту могла рухнуть.

Конечно, будь у нас опытный горный мастер, он бы придумал, что сделать. А этот убежал. Остались мы с Кагировым вдвоем. Что теперь делать? Тоже бежать? Постыдно.

— Ну, — говорю, — Шакир, давай быстренько отвезить уголь на параллельный штрек. Не пропадать же ему!

А возить приходилось вручную, вагончиками, никаких качающих конвейеров на Волковском пласту не было.

Попотели мы с Шакиром как следует, но уголь отвезли. Стало возможно восстановить старое крепление. Затем и новый крепеж забутили.

К концу смены, глядим, идет начальник участка и за ним горный мастер. Явились, видимо, ликвидировать аварию, а ее и следов нет.

— Где же этот обвал! — спрашивает начальник. А горный мастер сам глазам не верит.

— Да тут бог знает что было, все лесины повалены, угля тьма-тьмущая...

Начальник посмотрел на него, потом на нас с Кагировым.

— Здесь надо было старейшим забойщиком быть, чтоб так распорядиться! Уму непостижимо, как эти два малыша справились.

А Кагиров тихий-тихий с виду, но совсем не переносил, если кто-нибудь на его недостаточный рост намекает. Зашипел, как кошка:

— Кто малыш, кто малыш! Неяскин не малыш, Кагиров не малыш, мы дело делали. Вот он — малыш, шума испугался!

И показал на горного мастера.

Ну, назавтра нам зачитывали на раскомандировке благодарность в приказе по шахте, и вечером мы с Шакуром здорово выпили в моем Доме ударника. Так сказать, отпраздновали этот случай.

А тут подошел 1934 год, паспортизация. Я хватать-похватать: справки из сельсовета нет, куда задевалась — до сих пор не знаю.

Я написал председателю сельсовета письмо, не отвечает. Второе. Ни слуху, ни духу. Тогда я решил: надо ехать. Дали мне отпуск. Помню, только-только весна начиналась.

Приезжаю в Ново-Михайловку, иду по улице, а сам думаю: «Может, моя жена от живого мужа за другого вышла? Может, войду сейчас в дом, а там какой-нибудь гражданин хозяином и мне вопрос: вам чего, собственно, тут надо?» С такими мыслями дохожу до своего крыльца, только взялся за ручку двери, а навстречу мне Елена. Побелела и стоит.

— Ты? — говорит. — Ты? Жив, значит?

— А меня здесь уж в поминанье записали?

Говорю так и нарочно стараюсь еще что-нибудь поглубже придумать. Но она словно и не слышит.

— Маменька, — кричит, — маменька, Василий наш приехал!

Ну, что тут поднялось! Мать выскочила, плачет, за ней сестра, а дальше, гляжу, маленькая такая девчоночка переваливается, и, между прочим, пухленькая, веселая. У меня и сердце дрогнуло, не скрою.

— Маруся, — говорю, — Марусенька! Дочка!

А сам от стыда не знаю, что делать: ребенку гостинца не привез.

Вот так это все вышло.

Елена сразу объявила:

— Теперь как хочешь, а я от тебя больше не отстану. Будем жить вместе: где ты, там и я с Марусей.

Мать и сестра стали мне рассказывать, что Елена меня все ждала. Сватались к ней разные граждане, уговаривали заглазно развестись и на меня плюнуть, раз что я даже не пишу. Она и плачет, но твердит: «Пока мне неизвестно, что он на другой женился, я от его матери не уйду».

Мне это очень понравилось: такой выдержки женщину не каждый день увидишь. А она еще Маруську выучила «папа» говорить.

В сельсовет за справкой мы пошли с Еленой вместе, а когда пришли, то я и сказал:

— Перво-на-перво зарегистрируйте наш законный брак с Еленой Сергеевной, а затем объясните, почему вы советским гражданам на письма не отвечаете?

Конечно, после такого запроса они быстро и вежливенько сделали все, что надо, так что уже на другой день мы были вполне свободны ехать. Но я погостил еще немного, подремонтировал матери кое-что в доме и поговорил с нею, между прочим, о судьбе. Остались мы, однако, каждый при своем мнении. Она за судьбу, я — против.

В Кемерово, на рудник, я вернулся с женой и дочкой. Больше всех удивился Иван Ванин.

— Вот скрытый черт, ни словом не обмолвился. А у него целое семейство!

Но я и тут молчал. Чего говорить? Теперь уже все по закону, и дочке три года миновало, а Елена мне теперь даже лучше показалась, чем тогда, когда нас сватали, хотя она и в ту пору была видная девушка.

По случаю приезда с семейством мне предоставили в Доме ударника отдельную квартиру — комнату, чуланчик и кухню. Потом, немного спустя, был я выбран делегатом на слет ударников в Прокопьевск и привез оттуда премию — хромовые сапоги. Ну, тут я не утерпел, сказал Елене:

— Вот неудачников-то как отмечают.

Она ничего, улыбнулась.

Лето мы так прожили, а пятнадцатого сентября меня призвали в армию. Я в детстве на качелях немножко зашиб глаз и думал, что в армию негоден. Но на комиссии определили: зрение стопроцентное, и тут же зачислили.

Так я уехал. С дороги матери написал: «Призывали, дескать, в армию. Елена осталась одна в чужом городе. Как будет жить?» Уже потом, на месте, узнал, что мать сейчас же за ней приехала и увезла в деревню.

Служил я на Дальнем Востоке. Первый раз море увидел, и вот на всю жизнь в глазах так и стоит. Незабываемая красота.

Как служил? Да как все. Ну, конечно, были благодарности, отличия, про меня говорили — старательный. Это может быть и так; отец у нас тоже был добросовестный, но не в том смысле. У меня в армии какие-то новые чувства появились: интереса и ответственности. Как бы это лучше объяснить? Раньше мне интереснее всего было то, что меня самого касалось. Моя жизнь, моя работа, мое устройство. Я хотел хорошо работать, но для себя. Чтоб меня похвалили, чтоб мне лучше жилось. А теперь — прихожу на политзанятия, слышу там про какой-нибудь перелет или про международные события, и мне это вроде важнее, чем мои домашние дела. Как будто я самолично за это должен отвечать.

Я бы в общем так определил: своя рубашка стала от кожи отлипать. Есть такая поговорка: своя рубашка ближе к телу. Я раньше всегда это чувствовал, а теперь стал забывать.

Окончательно заметил я эти мои новые чувства на таком случае. Осенью 1936 года мы стояли в Александровске; однажды поднялся сильный шторм, и пассажирский катер выбросило на берег. Пассажиры стали тонуть. А я со своим отделением как раз был на берегу. Надо спасать, но никто не решается: уж очень большая волна была, да и холодно — жуть! А между прочим, плавать мы все умели. Я скинул сапоги, гимнастерку и бросился первый. Что я тогда думал? Теперь уже не помню, но вот чувство такое: советские люди тонут, а мы, красноармейцы, глядим. Так и всю армию опозорить можно. Конечно, слов я этих не произносил, но вот чувство такое было.

Бросился, значит, первый, а потом, гляжу, за мной сержант Софронюк, наш же парень из Топок, а за ним и другие. Ничего, шестнадцать человек мы вытащили. Нам после в «Советском Сахалине» благодарность напечатали и по пятьдесят рублей на брата выдали. Но как раз это мне не так интересно было.

20 мая 1937 года меня демобилизовали.

Приехал в Ново-Михайловку в хорошей погранформе, и даже ростом как будто повыше стал. А дома уже сын есть, Дмитрий, хороший

такой пацанок. Елена в колхоз вступила. Стали и меня там оставлять:

— Не уезжайте, жена ваша в колхозе, и вам, поскольку вы демобилизованный младший командир, предоставим руководящую работу.

А я поглядел: спелись там председатель колхоза с председателем сельсовета, и каждый норовит себе в карман лакомый кусок утянуть. Устав сельхозартели замечательный, только бы жить и жить, а они сплошь нарушают. Прямо издевательство какое-то, у колхозников от этого всякий интерес к делу пропал. Где на них управу найдешь? Плетью, говорят мне, обуха не перешибить.

Я и сам все это увидел, а тут еще Елена с матерью рассказывают. Мать-то, впрочем, говорит, говорит, да и прибавит:

— Ты с ними не ссорься, они тебя уважают. Соглашайся-ка остаться, да и заживем припеваючи.

Они, правда, и корову мне давали, и вообще всякое устройство. А я поехал в район. Пришел в земельный отдел, рассказываю. Заврайзо, усатый такой, искоса поглядывает:

— А вы сами кто будете?

— Демобилизованный с действительной службы отделенный командир Неяскин.

— До армии в колхозе были?

— Да нет, — говорю, — в Кемерове, на шахте работал. В Ново-Михайловке у меня семейство.

— Так, может, ваше семейство или вас чем-нибудь обидели? Скажите, мы распорядимся.

— Нет, — говорю, — у меня все в порядке.

— Тогда не пойму, о чем вы беспокоитесь.

— Не поймете? Видать, у вас одна шайка-лейка.

Гляжу, у заврайзо лицо скривилось, будто он прошлогоднего квасу хлебнул.

— Плохо вас, — говорит, — товарищ Неяскин, в армин воспитали. Как это вы позволяете себе такими огульными обвинениями бросаться?

А какие огульные, когда у нас в колхозе для работников райзо каждый год по десятку хряков откармливали? Ясное дело, одна шайка. Так и вернулся в колхоз ни с чем.

Теперь я понимаю, надо бы мне в райком партии или в райисполком итти. Там бы, наверно, это дело живо раскассировали. Но я тогда еще очень далеко от партии стоял, не осмелился. Настойчивости тогда во мне еще мало было. Чувства имелись, а настойчивости мало. К тому же, я себя убеждал: ну какой я, к черту, колхозник? Я шахтер, и нечего мне в этой Ново-Михайловке делать.

Вот как-то ночью спрашиваю Елену:

— Поедешь на шахту?

У меня с женой странное дело получилось. Раньше я, кажется, к ней совсем равнодушен был, а с течением времени очень привязался,

уже и житья без нее не мыслил. Привык, что ли? Она хорошая женщина, толковая.

Она говорит:

— Поеду.

Собрались мы быстро. У меня-то всех вещей — шинель и кружка, но ведь детишки... Уже двое их стало.

Двинулись в Кемерово. Приезжаю и узнаю: «Диагональная» моя выработалась и закрылась, а старых приятелей на разные шахты расхватали. Куда идти? Мы с узлами, с баулами, с ребятами. Я помнил адрес Великжанина, первого моего бригадира. Стукнулся к нему. Он встретил с объятиями, ребят моих на руках в дом внес. Сам он, оказывается, уже десятником на «Центральной» работает и меня туда же позвал.

Пошел я забойщиком. Думал сначала, что отвык, разучился. Как раз ведь перед армией только-только отбойный молоток мы освоили; замечательный инструмент, если уметь им управляться.

Как-то, думаю, справлюсь? Однако все получилось хорошо и даже прекрасно. С первой же смены я начал полтора плана давать. Тут на шахтах без меня стахановское движение во всю мощь развернулось. Когда я в армию уходил, мы еще только на самого Алексея Стаханова дивились, а вернулся — на каждом участке его последователи... Чудеса! Меня тоже вскоре объявили стахановцем.

столовой. Придешь домой — тебе еда готова, и недорого.

Вот так я жил, а о семье и не вспоминал. То есть неверно, что не вспоминал. Вспоминал часто: и мать, и сестру, и Елену с дочкой. Злость к Елене у меня за два эти года повыветрилась, но я не думал забирать ее из деревни. Да что? Мне ведь в ту зиму всего двадцать лет сравнялось; ну какой из меня муж и отец?.. Никто в шахте даже не подозревал, что я женат.

Месяца через два меня из бригады Великжанина забрали, поставили на самостоятельную работу. Начальник участка так выразился:

— На этого паренька (на меня, значит!) я бы в любую минуту надел серую шинель и прямо в бой: такой он надежный.

Конечно, мне это радостно было слышать, и я старался оправдывать доверие. Великжанинская выучка тоже помогала.

Работал теперь я уже в другой смене. Горный мастер у нас был неопытный, только-только его перевели с транспорта. Отгребщиком мне дали Шакура Кагирова, татарина. Замечательный паренек был: тоже молодой, энергичный, а росту моего, из невысоких. Уступы у нас в ту пору кончились, начиналась работа в зонной системе.

Работали мы в зоне на Волковском пласту, неважный достался участок, капризный, неровный по качеству угля и весь пласт немеханизированный.

газетка на видном месте лежит. Чтобы дети там пищали или еще какая-нибудь неувязка — ни-ни. И стало меня еще больше домой тянуть, ко всему этому уюту и удобству.

Вот так мы жили. Но верно, должно быть, Елена определила: неугомонный. А в общем я справедливость люблю, чтоб все по правде, как законом положено. Ведь у нас в Советском Союзе какой закон? Замечательный. Он каждой буковкой на благо трудящихся устремлен. Если его твердо исполнять — лучшей жизни не придумаешь. И, по-моему, всякий за это должен бороться.

Словом, вышло такое дело. Однажды у нас на участке испортился привод качающего конвейера. Что делать? Я, конечно, к механику, а он был человек грубый и самомнительный. Озлился, что я ему напоминаю.

— Ладно, чего лезешь? Сами знаем.

В общем, привод стоит, и мы стоим. Конечно, это уже не моя вина, если при таких обстоятельствах участок план не выполнит. Меня за то осуждать нельзя. Но разве во мне дело? Государству-то все равно, чья вина. Государству уголь нужен. Решил я людей уговорить, чтобы вручную поработали, и все-таки план дать. Без плана я никогда на поверхность не выходил.

А что это значит — вручную? Надо столько откайлить, сколько отбойным молотком давали. Это тебе не шуточки. Конечно, тут и расценка

будет другая, если человек руками вместо машины работает.

Кончилась смена. План мы выполнили, и я наряд переправил на повышенные расценки. Не успел до дому дойти, прибегает уборщица из шахтоуправления.

— Тебя, Василий Федорович, к управляющему.

Прихожу. Он туча-тучей, в руках у него мой наряд:

— Кто позволил расценки повышать? Я тебя засужу, я тебя самого платить заставляю, последние штаны продавать будешь!

— Ну это еще кто кого засудит, — отвечаю, — вы сначала разберитесь.

Рассказал ему все, как следует; он немного утих, вызвал главного инженера и велел тому разобраться. А главный инженер с механиком — неразлучные друзья. Это вся шахта знала.

«Ладно, — думаю, — посмотрим».

Прихожу назавтра в раскомандировку перед сменой, гляжу — разница в оплате по вчерашнему наряду на меня начислена; должен я ее, значит, из своего кармана покрыть. Спускаюсь в шахту — привод стоит.

Люди спрашивают:

— Как работать, Василий Федорович?

— А никак. Велено ждать механизмов.

Но у самого душа болит. План-то, план ведь не выполним!

Просидели мы всю смену без дела. Поднимаюсь на-гора и прямо из клетки в объятия управляющего.

— А-а, Неяскин! Сколько у вас сегодня?

— Ни фи́га, — говорю, — сегодня нет. Ни одной тонны.

Управляющий даже побагровел:

— То-есть как это ни одной? Ты что, с ума сошел?

— Нет, — отвечаю, — в здравом рассудке. Только я не капиталист какой-нибудь, чтоб за свой счет рабочих нанимать.

Управляющий даже в мойку меня не пустил, увел в свой кабинет.

— Рассказывай толком.

Ну, я опять все сначала без стеснения выложил. Управляющий выслушал, походил-походил по кабинету, у окна постоял, по стеклу побарабанил.

— Сколько вчера переплатили? — спрашивает.

Я говорю: столько-то.

— А сколько угля дали?

Я опять называю цифру.

— Выходит, значит, весь разговор из-за полсотни рублей?

— Выходит, — говорю, — и если разбросать эти полсотни на всю себестоимость нашей шахтовой добычи за сутки, то совсем ерунда выйдет. Зато план выполнен. Да мне и своих денег не жалко, для государства я не то, что деньгами, но

и жизнью, может, пожертвую. Только тут сделали не по справедливости. И я принципиально не желаю за вашего механика из своего кармана расплачиваться.

Управляющий поглядел на меня и усмехнулся.

— Ишь, какой принципиальный. Ладно, иди в мойку, а оттуда возвращайся прямо сюда. Небольшое совещание будет.

Когда я вернулся, в кабинете уже полным-полно народу: и главный инженер, и механик, и бухгалтер, все начальники участков, парторг, конечно...

Управляющий мне на стул указал и говорит:

— Ну, теперь все в сборе, начинаем совещание.

Да как пошел честить механика с инженером, как пошел!

— Равнодушные вы люди, — говорит, — нет у вас волнения и заботы о порученном деле. Вот Неяскин, простой шахтер, но мыслит он государственно. А вы?

Я уж всего теперь не помню. Но только это был случай маленький, а победа большая.

После этой истории кое-кто на шахте стал считать меня человеком неуживчивым, но мне это даже нравилось. И на участке меня уже иначе, как Василием Федоровичем, никто не звал.

Ну что ж рассказывать? Работа на участке — дело известное. Меня, главное, в этой работе все больше и больше стали увлекать всякие новинки,

но они к нам туго просачивались. Механизация! Ведь она не только убыстрение угледобычи несла и не только облегчение труда, который еще недавно каторжным считался. Она самое существо горняка меняла.

Я встречал прежних знаменитых забойщиков. Он уже и на пенсию ушел, а все медведь-медведем. Ручищи, как из железа. Сила, видать, непобедимая. А при механизмах эта грубая сила ни к чему. Смекалка, опыт, знания — да. А мускулы — дело второстепенное.

И интересы у человека становятся другие. Вот до сих пор считается, что в рудничном городе цирк нужен обязательно, а театра может и не быть. Почему? Я как-то об этом задумался. И понял. В цирке, например, борцы и разные другие силачи выступают. Кто их лучше всех оценит? Конечно, шахтер, то-есть человек, который и сам недюжинной силой наделен. Но вот как-то такой случай вышел... Это уж перед самой войной было. Приехал в Кемерово некий гражданин Бриллиантов. На всех перекрестках расклеили афиши — выступление непобедимого силача-гиганта: человек, поднимающий лошадь!

У нас в шахткоме билеты продавали. Многие решили итти и с моего участка ребята тоже. И меня уговорили.

Пошли мы, вернее — поехали. Поездом добирались. Он на левом берегу выступал, в цирке.

Народу собралась тьма-тьмущая. Сперва там разные другие номера шли, но это так, для заполнения времени, а весь цирк Бриллиантов? ждет. Вышел он. Действительно, крепкий мужик. Потом лошадь вывели — без обмана, действительно лошадь. Он под нее подлез, натужился и приподнял. Все застучали, захлопали, кричат — всеобщий восторг. Возвращались в восхищении:

— Вот, мол, этого бы Бриллиантова к нам в шахту! Он бы наделал дел!

А один паренек незаметный такой у нас был, Кудимов, вдруг возьми и скажи:

— Ничего бы он особенного не наделал. Конечно, если ему кайло в руки дать, он может и показал бы себя. А для современного инструмента этот герой ни к чему, тут его мускулы квалификации не заменят.

Глубокую мысль высказал. И, главное, что интересно. Этот же Бриллиантов приезжал к нам в Кузбасс в нынешнем году опять. Весь бассейн объехал. И в Кемерове был. И опять лошадь поднимал. А в цирке, вспомните-ка, полтора человека собралось. Неинтересен он уже стал. Зато когда лекция об атомной энергии в Доме культуры была, то администрация для поддержания порядка наряд милиции вызывала.

А пошел бы шахтер в прежние годы на лекцию? Нет, конечно. Не то развитие, не те мысли. Вкуса к лекциям у шахтеров не было. А нынче сама работа в шахте к мыслям толкает...

Ты, Николай Петрович, прекрасно видишь, как у нас теперь люди берут обязательства по пятилетнему плану. Тридцать раз каждый высчитает и проверит не только себя, но и всё вокруг. Он как бы в чужую шкуру влезает: и за лесодоставщиков подумает, и за отпальщика, и за отгребщика. За всю бригаду — это самое меньшее. А другой и за целый участок соображает. В чем же тут дело? Да в том, что широко стали мыслить люди. Горизонты перед ними открылись.

В войну — ты знаешь — меня здесь не было. Воевал. Там же на фронте и в армию вступил. А вернулся с фронта, и — прямо на шахту. И не на «Центральную», а вот сюда, на «Южную» — тут очень люди требовались, шахта ведь новая, в военное время пущена, и — на отшибе. Ну, Елена не возражала: тем более здесь и с огородом удобнее, чем в Доме ударника. Перебрались мы сюда, а я уже и дожидаться не могу — скорее бы в лаву. Однако в лаву меня не пустили. Решили поставить меня помощником начальника участка, — дескать фронтовик с наградами и до войны успел курсы мастеров закончить. Ладно, пошел помощником начальника.

И вот, Николай Петрович, представь мою обиду: шел в шахту, как на праздник, а попал — на панихиду. То ли после армии требовательнее стал, то ли вообще глаза зорче глядят, но только сразу же я увидел: мало у нас на шахте порядка и бедновато с механизмами. Конечно, я понимал, что сказывается военное время: нехватки всевоз-

можные, необходимость при всех условиях давать план, пришлый молодой народ... А все-таки, поглядев и пораздумав, я решил: дальше так дело не пойдет... Без порядка и без ухода даже коро-ва не доится, а уж угля тем более не дашь.

Пошел разговаривать к начальнику шахты. Объясняю: люди плохо расставлены, с лесом и порожняком вечные задержки, о большой механизации не думаем и о малой тоже не вспоминаем. Ну и так далее. Все перечислил, подкрепил фактами, даже кое-какие циферки привел. В общем, разговор был вполне убедительный.

А начальник шахты оказался с гонором, самонительный и мелкий человек. Ты его, Николай Петрович, не знал: его еще до тебя отсюда убрали. И поделом убрали.

Так вот, слушал он меня, слушал, да как стукнет кулаком по столу:

— С лесом, с порожняком да с механизмами каждый дурак уголь даст! А ты так сумей.

— Нет, — отвечаю, — я не волшебник и не фокусник из цирка.

Слово за слово, беседа наша разладилась. Он на меня кричит, но и я тоже не молчу. В общем, начальник совсем разъярился.

— Чтобы, — орет, — духу твоего на шахте не было! Ты мне здесь людей разлагаешь!

Я и ушел. Хотел совсем на шахту не возвращаться. Потом рассудил: разве же это будет доказательством? Нет, думаю, надо дело до конца

доводить, чтоб не получилось так, как когда-то в Ново-Михайловке с тем заведующим райзо. И еще, сказать по правде, понадеялся, что начальник просто сгоряча накричал. Мало ли какие неудовольствия меж людьми на работе выходят, нельзя же каждое лыко в строку.

Словом, пошел к нему опять.

— Так и так,—говорю,—оба мы с вами коммунисты, оба за одно дело болеем. Я на шахте не мальчик, зря советовать не стану.

Уж я старался помягче говорить, чтоб ему не обидно было.

Куда там! Рассвирепел до крайности. Как его удар не хватил — не знаю; тучный был, в шахту даже из-за своей тучности редко спускался. А тут затрясся весь:

— Учить меня! Перку ему в зубы, кайло — в руки, пусть идет забойщиком.

Он, конечно, думал, что в забое я оскандалюсь. А мне что? Назавтра явился я в отдел кадров:

— Переводите в забойную бригаду, с начальником согласовано.

Поставили меня на самый мерзкий участок. Никто туда идти не хотел. «Ладно, думаю, и здесь можно уголь давать». Да как поднажал: что ни смена — двести процентов. Конечно, не кайлом и не перкой, а отбойным молотком.

Но хорошо, это я двести процентов даю, а ведь другие вокруг и плана не выполняют. Я что делал? Леса нет — сам к шурфу бегу. Порожняк

задерживают — опять сам к начальнику транспорта. После работы — прямо в партком, к главному инженеру, к главному механику. Но ведь не может же каждый забойщик так бегать! И на меня-то сначала удивлялись, потом привыкли.

Видят — человек неугомонный, работать умеет — стали мне исключительные условия создавать: и лес для меня во-время, и все остальное. Хоть каждый день рекорды ставь. И я ставил.

А какой от этого толк? Ну я лично вырабатываю четыре-пять норм. Конечно, мне и почет, и заработок. Но ведь другие-то и хотели бы, да не могут следовать моему примеру. У них для этого условий нет. Из-за беспорядка в шахте они по подсмены сложа руки сидят, а не то что рекорды ставить. И выходит: никакой я не передовой рабочий, который за собою остальных ведет, а вроде — чемпион-одиночка. И государству от моих рекордов очень мало проку.

И вот, Николай Петрович, пошел я в городской комитет партии. Длинный там был разговор и очень внимательный. Одобрили мои мысли насчет одиночных рекордов: партия, говорят, именно так на это и смотрит. Потом спрашивают:

— Что же, по-вашему, Василий Федорович, нужно?

Я обстоятельно доложил.

Записали.

Ну, а остальное ты и сам знаешь. Сменили на нашей шахте руководство. Вскоре и ты появился. Выбрали меня, между прочим, в партбюро. Хотели опять помощником начальника участка ставить, но я выпросился в бригадиры.

— Дайте,—говорю,—забойной бригадой по-
руководить, а там посмотрим...

Я это не без задней мысли задумал. После войны на шахтах вообще большой недостаток в квалифицированных кадрах ощущался, а особенно плохо с бригадирами было. Сам еще человек кое-как умеет уголь рубать, а вот чтоб других организовать — пороку у него нехватает. Опыта нет. И решил я свою бригаду превратить, так сказать, в школу забойщиков первой руки. Чтобы из этой бригады можно было брать людей бригадирами.

Тогда еще только-только послевоенная пятилетка начиналась.

Стал, значит, учить людей. Как учил? Должно пересказывать, но учил всему. Вот — Федюшов. Совсем молодой паренек, никогда до того и в шахте не бывал, прямо в мою бригаду угодил. Но очень толковый. Тоже бывший фронтовик и к тому — земляк мой, из Ново-Михайловки. Только куда моложе меня.

Схватывал он все прямо на лету. Всего три месяца я его и учил, а какой славный вышел бригадир! В 1946 году за полгода годовую норму выполнил. А теперь со мной же соревнуется, того и гляди обгонит... Очень я на него радуюсь.

Потом вышли в бригады Никитенко, Михеев, другие... Многих выучил. И уже по всей шахте пошла молва: неяснинская школа бригадиров. Шутили, конечно, но одно — правда: в бригаде моей — твердый порядок. Все заранее рассчитано и предусмотрено, чтобы в лаве, как на заводе: ни минуты простоя. Вот мы спускаемся на смену. Приехали. Пока забойщики идут в лаву, отгребщики уже набирают глину для шпуров, а слесарь проверяет привода качающего конвейера. Грузчики тоже занятие имеют: они гонят порожняк под погрузочные люки и наводят на штреке чистоту: тогда при погрузке их уже ничто не задержит. Словом, все работают с самой первой минуты, и работают не вразнобой, а согласованно с остальными. Вроде, как на заводском конвейере, чтоб минутки не пропало.

У нас ведь не прежняя Ново-Михайловка, где время беречь не умели. Помнишь, я рассказывал, как там жили? День, мол, прошел, и — ладно. А, впрочем, теперь и в Ново-Михайловке не по солнцу, а по часам живут. Да еще часы-то с секундомером... Я в отпуск туда недавно ездил и видел: такую технику развели, что и мы на шахте можем кое-чему позавидовать...

Но не об этом речь.

Так вот, научились мы в бригаде беречь время, и как только научились — сразу почувствовали: сколько же можно в нашей работе усовершенствоваться! Я не о большой механизации, это вопросы общие для всей шахты, а может, и для

многих шахт Кузбасса. Я — о малой, о кустарной, так сказать, механизации.

Ну, к примеру: у нас вечно случался перегруз вагончиков из-за плохой системы заложек на люках углеспускных печей. Грузчик во-время не закрыл, не сумел удержать — и уголь летит прямо на штрек. Потом изволь его лопатой собирать и забрасывать в этот самый вагончик. Адова работа, да еще сколько времени отнимает. А сделать хорошие, удобные заслонки — пустое дело. В своей же механической мастерской можно. И материала особого не надо — из обрезков, из старого металла выходят.

Или такая вещь: когда забойщики крепят после отпалки, один из них непременно вынужден поднимать свой край лесины метра на четыре в высоту. Тут, конечно, руками не достанешь. Человек помогает себе, чем придется: то кайлой, то меркой, то буром отбойного молотка. Неудобно и даже опасно: того и гляди лесина с этой подпорочки сорвется и угодит тебе по голове. Посмотрел, посмотрел я, да и надумал: надо изготовить простое приспособление из полой металлической трубки, длиною в полтора-два метра. А на одном конце этой трубки — рогатка. И надо эту рогатку согнуть так, чтоб лесина в нее ложилась, как в человеческие ладони. Таким приспособлением нетрудно подхватывать верхний конец лесины. Да и времени опять-таки уйдет куда меньше, чем если станешь подцеплять ее острым буром или мерочкой...

Этаких мелочей в шахте, если присмотреться, — великое множество. И стали мы в моей бригаде вводить подобные усовершенствования. Вводим и подсчитываем: вот и еще свободные минуты обнаруживаются, а вот уже и час убежал. Все пятилетке на пользу.

Как раз в это время начали у нас в Кузбассе брать обязательства по досрочному выполнению пятилетнего плана. Ну, в моей бригаде мы все время полтора плана давали или почти полтора. А я сам, лично, и больше иногда успевал. Надо, думаю, не ошибиться: взять обязательство максимальное и рассчитать все до точки.

Тут-то и начал я разрабатывать свой график циклической работы в лавах. Наверно, месяц с карандашом в руках высчитывал, сколько лесин требуется в смену, сколько затяжек, сколько, конечно, порожняка. И высчитал даже, какой в результате получится заработок у каждого члена забойной бригады. По профессиям высчитал.

Долго себя проверял. Нельзя в таком деле ошибиться. Ну, наконец, пришел к выводу: если каждая бригада на нашей шахте «Южная» будет работать по этому графику, то это всей шахте обеспечит систематическое выполнение суточных планов, самое меньшее, на сто тридцать пять процентов. Самое меньшее! И ведь годен этот график для любой бригады на нашей шахте. Когда я это высчитал, когда понял, что теперь вся шахта может выполнить свою пятилетку в

три с половиной года, я от радости прыгать был готов. Это же тебе не одиночный рекорд! Это уж действительно государственное дело!

Наступила тишина. Неяскин и Быковский закурили, обдумывая смысл сказанного. Наконец, парторг негромко вздохнул:

— Я последние дни как-то выпустил это дело из виду. Все еще — ни с места?

— Почти так, — с горечью ответил Неяскин. — То-есть двигается, двигается, но не сверху, а снизу. Бригадиры — бывшие мои ученики в большинстве сами приходят ко мне за этим графиком. А вот сверху-то, начальство — не внедряет. Не оспаривает, нет. Даже хвалит. Но не вводит. Ну, скажи мне, Николай Петрович, что это такое?

Неяскин почти выкрикнул свой вопрос.

Парторг встал.

— Что? Косность, милый друг Василий Федорович. Боязнь нового. И страховочка: а вдруг, мол, не вытянем с доставкой леса, с порожняком, мало ли с чем... Так лучше подождать. Лучше пусть по-старому, по-привычному — по крайней мере не ошибемся.

— Да ведь почему я давеча сказал тебе, что значок этот, — Неяскин уже совсем не осторожно, а грубо дернул лацкан своего пиджака, — значок этот — признание моей правоты? Почему я ему, как ордену, рад? Все потому, что получил я его за график, за мою систему работы по гра-

фику. Я же свои 190—200 процентов плана не с неба беру, и не горбом — я не Бриллиантов, который лошадей поднимает... Я график свой выполняю точно, неуклонно, не отступая... Правильно?

— Правильно, — согласился парторг.

— То-то и оно. На сегодня, при той механизации, при тех условиях, которые у нас есть, я в своем графике все предусмотрел. Изменится завтра что-нибудь, я завтра же и добавлю что-нибудь. Мало ли! Но ведь сегодня-то уже вся шахта может так работать. Никаких чудес я не делаю, никаких секретов не имею. Самое обыкновенное дело!

— Ну, что ж, — тихо и ласково сказал Быковский, — продолжай! Продолжай у себя в бригаде, и продолжай на всей шахте. Не для себя, а именно для всей шахты. Всегда приходится драться за новое. Старое сопротивляется, тянет назад. Ты хорошо тут прежде сравнил насчет своей рубашки, которая перестает липнуть к телу. А ведь это тоже новое... И даже такое новое, я тебе скажу, что ты и сам, может быть, еще как следует не понимаешь. Это значит, что чувства и стремления у тебя уже коммунистические. Вот примерно полтора десятка лет назад поэт Маяковский писал про «коммунистическое далеко»... А оно сегодня уже не далеко, а близко. К нему приближаемся, Василий Федорович! Только у людей разная походка. Одни побыстрей идут, другие помедленнее. Ты-то, видать,

быстро ходишь, дружище, и тебе меньше осталось. Сегодня — это очень новое. А завтра... завтра уже, пожалуй, будет такой же обыкновенной историей, как твой путь от пастушонка до кадровика-шахтера...

— А, черт, — рассмеялся Неяскин, — мы ведь так и забыли установить, когда это я стал кадровиком.

— Забыли, — признался парторг, — а, впрочем, это и не очень важно. Зато мы установили много такого, что, пожалуй, гораздо интереснее...

Они посмотрели друг другу в глаза, и Неяскин, перестав улыбаться, ответил медленно и серьезно, как бы давая клятву:

— Ну что ж? Будем драться за новое, за самое новое, Николай Петрович.

Кузбасс, Кемерово.
Декабрь 1947

ШАХТЕРСКИЙ
ДОКТОР

(Очерк)



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

LIBRARY

PHYSICS

1911

(1000)

CHICAGO, ILL.

Крутила метель, та самая сибирская метель с ветром, которая так легко переходит в бурю, и тогда с крыш летят тяжелые листы кровельного железа, а трамваи останавливаются там, где их застигнет непогода.

Мне надо было пройти не более ста метров от гостиницы до угольного треста, но я с опаской поглядывала в окно. Всегда оживленная главная улица Прокопьевска сразу опустела. Немногие пешеходы зябко кутались в свои воротники и шарфы. Внезапно я увидела уже немолодого коренастого и плотного человека, который с легкостью юноши широким шагом шел навстречу ветру. Казалось, он с удовольствием подставляет колкому снегу свое покрасневшее от мороза лицо. Встречные, поровнявшись с ним, останавливались и поспешно сдвигали шапки, не смотря на непогоду. «Кто бы это мог быть?» — с удивлением подумала я. В маленьком угольном городке все знали друг друга наперечет. Я жила здесь вторую неделю и тоже, как мне казалось, знала всех выдающихся чем-либо людей в лицо.

Вечером, когда метель утихла, я вновь встретила этого человека. Он шел впереди меня все

тем же широким шагом и едва успевал отвечать на приветствия.

— Шахтерскому доктору нижайшее почтение! — раздался приветственный возглас рядом со мной.

Я оглянулась: незнакомый пожилой человек торопливо обогнал меня.

— А-а, дружище! Давненько не видал вас. Ну, как дела?

Они остановились на тротуаре, разговаривая, как добрые друзья, о своих домочадцах, об урожае яблок, о какой-то охотничьей собаке, которая от безделья тоскует, и еще о множестве других мелочей, интересных им обоим.

Назавтра я узнала, что «шахтерский доктор» — это Михаил Иванович Никифоров, кандидат медицинских наук, член Больничного совета Министерства здравоохранения СССР, областной травматолог и одновременно заведующий травматологическим отделением городской больницы в Прокопьевске, вообще же — один из самых уважаемых людей в городе, спасший жизнь многим шахтерам.

...Конечно, в тот же день я поехала в больницу к Никифорову. Ослепительно белое здание этой больницы построено высоко на холме. Зимнее сибирское солнце празднично освещало его со всех сторон. На мгновение мне показалось, что я гляжу на высокогорный санаторий.

Михаила Ивановича я застала в его травматологическом отделении. Здесь все дышало за-

ботливостью. Цветы, ковровые дорожки в коридорах, мягкая мебель в вестибюле, столы с книгами, журналами, зеркала, веселые занавески на окнах—все это так мало напоминало больницу.

— Видите ли, — объяснил Михаил Иванович, — у нас ведь особые пациенты. Как правило, это люди совершенно здоровые, которых постигла несчастная случайность. И нужно помогать им как можно скорее забыть пережитое, лечить не только физическое повреждение, но и психику.

Разносили обед. Он был очевидно вкусный (больные всячески выражали одобрение) и, безусловно, сытный.

— А это тоже относится к лечению психики? — пошутила я.

— Если угодно, да, — серьезно ответил мне Никифоров, — ну какие тут, в больнице, могут быть еще радости? Когда-то считалось: городская больница, бесплатная — значит скученность, казенщина, плохой уход, скупой рацион... А теперь наши пациенты даже от домашних передач отказываются...

Об этом он говорил с гордостью, даже познакомил меня с шеф-поваром и сестрой-хозяйкой, которая навела тут «такую красоту». Наконец, когда уже все было осмотрено и показано, Михаил Иванович пригласил меня с собой домой. Он жил рядом. Двухэтажный, столь же белоснежный, как и сама больница, домик оказался окруженным яблоневым садом.

— Плодоносят? — спросила я, кивнув на яблоки.

— А как же? И яблоки, и помидоры, и ягоды у нас свои. Сейчас угощу вас вареньем собственного производства...

Пятнистый охотничий пес лениво поднял голову, когда мы вошли в переднюю.

— Жиреет! — с огорчением сказал доктор. — Нехватает у меня сейчас времени для охоты: хочу в этом году закончить одну работу...

— Научную работу?

— Пишу книгу: «Травматизм в угольной промышленности Кузбасса за 10 лет». Понимаете (и я вдруг увидела, что доктор говорит о самом для него дорогом) — понимаете, травматизм в Кузнецком угольном бассейне за эти десять лет нам удалось снизить на двести процентов. Разве не следует поделиться опытом?

— Но как вам удалось?

— О, это целый комплекс мероприятий. Во-первых, профилактика. Во-вторых, подземные медпункты с хорошо обученным персоналом. В-третьих, наши врачи постоянно сами лазают в шахты и хорошо дружат с инженерами по технике безопасности...

Нас окликнули из столовой, приглашая к чаю.

Я бросила последний взгляд на письменный стол: на нем жили книги и цветы. Множество книг и множество цветов.

— Откуда в Сибири зимой такие цветы?

Доктор недовольно отвел глаза:

— А это, видите ли, один мой бывший пациент. Ушел на пенсию и стал садоводом-любителем. Такие парники завел... Круглый год у него цветы, и всегда, чудак, мне присылает. Проводил не брать — обижается.

— Наверно, хорошо вылечили, — шутливо сказала я.

— Хорошо? — Михаил Иванович прищурился и посмотрел куда-то вдаль. — Нет, хорошего мало. Ногу ему пришлось отнять...

Больше он не сказал ничего.

За чаем шел разговор о кузбассовских мичуринцах, которые закладывают тут — «буквально на угле» — фруктовые сады и собираются выращивать даже виноград, о новых книгах, которые доходят в Кузбасс медленно и скупно, о плохих дорогах Прокопьевска, о механизации шахт, которая возвещает новую эру в горняцком труде, и о международном положении, за которым доктор ревниво следил по газетам.

Расстались мы поздно.

Через несколько дней в горсовете, разговаривая о больнице, я снова вспомнила цветы на столе у «шахтерского доктора».

— А какой-то бывший пациент подносит вашему Никифорову замечательные цветы, — сказала я своему собеседнику.

— Это Карбовский! — живо откликнулся

тот. — Вам рассказывали, как Никифоров спас ему жизнь?

— Нет.

— Ну?! Это же замечательная история. Хотите послушать? — и, не дожидаясь моего согласия, начал: — дело было еще до войны.

В один из апрельских вечеров, когда Никифоров вместе с женой возвращался из кино, его обогнала машина скорой помощи. Шофер круто затормозил:

— Михаил Иванович! А мы вас ищем... На шахте 3—3 «бис» завалило забойщика.

Оставив жену, доктор на санитарной машине помчался на шахту.

— Кстати, — перебила я рассказчика, — почему этот доктор ходит у вас здесь пешком? Неужели город не мог бы предоставить такому человеку персональную машину или хотя бы лошадь?

— Хотя бы! — иронически повторил мой собеседник, один из руководящих работников городского совета, — у него такой личный выезд, какой и председателю горсовета не снится. Это помимо больничного транспорта, которым он, конечно, имеет право пользоваться. Но вот заставьте его ездить! «Пешее хождение, — утверждает он, — залог здоровья!» И бегаёт, как мальчишка, в любую непогоду. А ему шестьдесят лет.

— Д-да, — растерянно сказала я. — Ну так что же было дальше?

— Дальше?.. Приехал он на шахту, надел

свой комбинезон (у него на всех шахтах свои комбинезоны имеются) и полез к месту аварии. Хирург скорой помощи с целым набором хирургических инструментов сопровождал его. На полдороге их встретил инженер по технике безопасности:

— Зря вас, Михаил Иванович, побеспокоили: порода опять пошла, и до Карбовского не добраться... Возвращайтесь-ка на поверхность.

Однако Михаил Иванович не вернулся.

Катастрофа настигла Карбовского в отработанной лаве, через которую он пошел к своему забою, чтобы сократить дорогу, хотя все на шахте знали, что этим путем ходить опасно и строгонастроено запрещено. Лава обрушилась как раз в ту минуту, когда Карбовский подошел к параллельному штреку. Прошло двенадцать часов, прежде чем его обнаружили. Лежал Карбовский на правом боку, подогнув под себя правую ногу и не имея возможности пошевелиться: над ним грозно нависал свод из огромных глыб породы. С одной стороны этот свод опирался на висячий бок угля, а с другой — на крепежную стойку, которая и придавила намертво левую ногу Карбовского. Если тронуть стойку, — все рухнет; Карбовский, опытный шахтер, и сам это великолепно понимал. Лежа в обвале, он все время видел, как медленно, но неуклонно оседает нависший над ним свод.

Первое, что услышал доктор сквозь нагромождение обрушившейся породы и крепежного леса, был звериный крик Карбовского:

— Просуньте топор, просуньте топор, я отрублю себе ногу!

Только к утру сквозь хаос обвала удалось пробить к несчастному крохотный ходок — собственно, нору, высотой и шириной немногим больше полуметра.

— Н-ну, попробуем, — сказал Никифоров и полез в проделанную нору.

Он лез на четвереньках, помогая себе одной рукой: в другой он держал необходимый инструмент. Добравшись до Карбовского, он дал ему наркоз. Измученный человек заснул мгновенно. Врач почти лежал на своем пациенте. Голова больного находилась у него меж ног, коленями Михаил Иванович опирался на уголь.

Шахтерская лампа на каске врача тускло осветила придавленную ногу. Ножом Михаил Иванович взрезал штанину. «Лучше всего ампутировать в средней трети голени»... — мелькнула привычная мысль, но тут же он понял, что это немыслимо: в пробитом ходке негде было развернуть пилу.

Тогда, наложив на бедро жгут, хирург начал вычленять ногу в коленной чашечке. Что-то острое вонзилось ему в затылок, посыпались крошки угля. Он еще не успел понять, что происходит, как кругом все загудело. Слетела каска, блеснув лампой, сразу же наступила кромешная

тьма. Скальпель, которым он работал, выпал из рук.

— Нож, нож, — протягивая руку назад, в нору, закричал Никифоров, — я потерял нож!

— Бросайте все, обвал!!! — услышал он чей-то голос и одновременно почувствовал, как в протянутую руку кто-то всовывает ему нож.

Сколько секунд прошло затем, Никифоров не знал. Он работал с быстротой, с какой не работал даже в полевом госпитале в годы первой мировой войны.

Вдруг он почувствовал, что бедро, которое он поддерживал, подается. Он понял, что успел перерезать связки, что ампутированная часть ноги отпала, и тотчас же глыба, упирившаяся в спину и затылок врача, навалилась еще тяжелее. Угольная пыль забила рот, уши. Дышать стало нечем.

— Тащите меня! — из последних сил крикнул Никифоров.

Его вытащили, точнее сказать, выдернули из норы за ноги, и следом, мгновенно, выдернули продолжавшего спать Карбовского.

На санитарной машине больной и врач доехали до больницы, и там, в удобной, благоустроенной операционной, при ярком свете электрических ламп, Никифоров собственноручно произвел вторую операцию Карбовскому. Тот пролежал у него в отделении месяца полтора или два, потом выписался, получает пенсию по инвалидности и, как видите, жив по сегодня.

— Д-да, — сказала я, — а Никифоров? Ведь это же подвиг?

— Мы тоже считали, что это подвиг. Через несколько месяцев об этой истории узнали в Москве, и правительство наградило Никифорова орденом Трудового Красного Знамени. В ту пору Михаил Иванович был второй в СССР врач, получивший такую высокую награду.

Мы молчали. Я думала о цифре, которая значилась в благодарственном адресе, преподнесенном Михаилу Ивановичу кузнецкими шахтерами в 1947 году, в пятнадцатилетний юбилей его работы в Прокопьевске. Через руки доктора Никифорова прошло шестнадцать тысяч горняков, говорилось в адресе. Шестнадцать тысяч!

Так вот что значило — шахтерский доктор. Ласковое прозвище, которое я невзначай услышала на улице из уст незнакомого пожилого человека, зазвучало вдруг, как высокое звание.

НОВЫЙ
Д О М

ИВОН

МОД

Ждали его на руднике очень долго и, в конце концов, изверились. Первыми изверились жены. Сначала они еще спрашивали мужей:

— Ну как, слышно что-нибудь новенькое?

Мужья отвечали с горячностью:

— А как же? Вчера на собрании управляющий определенно сказал, что к ноябрю будет...

Но наступил и прошел ноябрь, потом миновал новый год, затем Женский международный день и близилось Первое Мая, а дом — стоквартирный дом, уже населенный и обжитой в воображении людей, — все еще не был готов. Теперь жены, вместо надоедливых вопросов о «новеньком», ядовито и ехидно подсмеивались:

— Ну да! Будет тебе это... когда новый дом отстроится.

Собственно, строительство стоквартирного дома началось еще до войны, вместе с закладкой самой шахты. Огромный котлован под фундамент вырыли на субботниках и воскресниках. Земля была нетронутая, неподатливая — «хоть взрывчаткой ее отпаливай!» — говорили шахтеры. Ее кайлили, как самый крепкий уголь, и жен-

щины, выбрасывая из рождавшегося котлована кубометры этой промерзшей земли, называли ее по-шахтерски — породой.

В день, когда заложили первый камень под фундамент стоквартирного дома, на руднике было много выпито: праздновали. Утром новый начальник строительства, приехавший из Сталинска, подробно рассказывал, как выглядит там соцгород.

— Улицы прямые, широкие, а дома на них вытянулись по ниточке. Высоченные, с балконами, в квартирах ванны, горячая и холодная вода круглосуточно. Отопление, конечно, центральное, с печами возиться не требуется. А вечерами в этих домах окна кажутся разноцветными фонариками — на лампах-то колпаки шелковые и прозрачные. У кого — желтый, у кого — голубой, у кого — розовый... Красота!

Женщины взволнованно вздыхали:

— Уж и так бы, и без колпаков бы можно...

Более практичные интересовались:

— А если, к примеру, корова есть? Или куры? Куда их?

— Во дворе сараюшки наделаем для вашей живности. Пожалуйста, заводь хоть слона.

Спрашивающие обижались:

— Это, может, вам слон нужен. А у нас без своего парного молока нельзя. У нас детишки, да и вообще шахтерский труд питания требует...

Дом начал расти. Поднимались добротные стены из квадратных серых камней, отчетливо вырисовывался первый этаж с широкими, как ворота, проемами окон будущих магазинов.

— В таком доме пожить — никуда не захочешь! — говорили прохожие.

Война остановила стройку. Никто не обижался, все понимали: сейчас не до того. Но было жалко, что новые светлосерые стены темнели от снегов и дождей, не успев стать добрым жилищем. Дом отцветал и старился, как женщина, не успевшая обрадоваться своей молодости. И, хотя никто не был виноват в этом преждевременном отцветании, казалось, что дом смотрит на людей с укоризной.

Еще в те дни, когда закладывался фундамент, начальник строительства распорядился выставить прямо на улице для всеобщего обозрения архитектурный проект будущего дома. Лист ватмана с тончайшими, как бы волосяными линиями рисунка поместили в застекленной витрине. Архитектор любовно отделал свой проект. Подцвеченное нежно голубой акварелью небо поднималось над домом, и легкие, как пушинки, облака реяли над его сверкающей крышей. Под шарообразно подстриженными деревьями, зеленевшими вдоль тротуара, прогуливались молодые люди в шляпах. Жители подолгу простаивали у витрины с проектом: они с одинаковым удовольствием любовались и зеркальными окнами, и широкими складками светлых пальто, в

которые вырядил своих прогуливающихся юншей архитектор, и элегантной лакированной машиной, остановившейся у одного из подъездов.

Витрина была двусторонняя, и со второй ее стороны поместили план одной из ста квартир будущего дома. Как ни странно, но у этой стороны витрины люди останавливались реже. Может быть, не все умели прочесть великолепие будущих комнат в скупых и деловитых линиях чертежа.

Архитектурный проект убрали, когда в первый год войны стройку перевели на консервацию. Вместо него в витрине начали ежедневно вывешивать сводки Совинформбюро, отпечатанные на толстой оберточной бумаге. И то, что архитектурный проект уступил место шероховатым листовкам, было вполне естественно в те дни, когда молодые люди страны сменили свои просторные светлые пальто на защитные гимнастерки.

А шахта росла. Шахта, которую заложили в 1941 году и которой по самым оптимистическим вариантам строительных планов следовало вступить в семью действующих шахт не раньше 1945 года, начала выдавать уголь в дни Сталинградской битвы. И это тоже было вполне естественно: война, фронту необходим уголь.

Возле шахты беспорядочно и неряшливо разрастался поселок. Все это были маленькие, временные домишки, не то избы, не то землянки, торопливо сползавшие по крутизне обрыва к це-

ресохшему руслу реки, названия которой не помнили и деды. Оконца в этих жалких и убогих жилищах были кривые, двери перекашивались, кажется, уже на следующий день после того, как их навешивали, и первая же метель заносила поселок по самые крыши. Поселок рос стихийно, по меткому словцу одного эвакуированного донбассовца его окрестили «Самостоятельным поселком». Жить там было плохо, это, конечно, знали все, и на новую шахту хорошие, кадровые горняки шли неохотно.

Впрочем, на третьем году войны начальник шахты раздобыл какие-то средства на строительство жилья для шахтеров. Он начал с общежитий для одиночек, как называли на шахте заverbованных в окрестных селах юношей и девушек. Это уже были настоящие дома по сравнению с «Самостоятельным поселком». Но до чего же отличались они от великолепного стоквартирного дома, которым когда-то раздразнили воображение жителей рудника! Грубые бревенчатые стены со слепленными из мелких стеклышек окнами, крыши, нахлобученные, как слишком большая шапка, скрипучая дощатая дверь на пружине; дверь, которую начали было мазать скучной зеленой краской, да так, не домазав, и навесили... Нет, все это выглядело очень уныло.

Затем выстроили целую улицу одинаковых домишек, которые в отчетности треста пышно назывались коттеджами. В действительности это были не очень удобные, наспех оштукатурен-

ные стандартные домишки с засыпными стенами, и хотя предназначались они для лучших шахановцев новой шахты, но уже в первую зиму обнаружилось, что жить в них холодно и неуютно.

Федор Иванович Ширяев был как раз одним из тех старейших и наиболее уважаемых горняков рудника, которым в первую очередь предоставлялись коттеджи. Уже не осталось людей, которые бы помнили, когда он впервые появился на руднике. Жил Федор Иванович в старом поселке, от которого до новой шахты, прозванной горняками «Фронтоничкой» за ее ускоренное военное рождение, было около пяти километров.

На «Фронтоничку» Федор Иванович пошел работать с неохотой. Перед пуском новой шахты его вместе с другими знатными мастерами угля пригласили в горком партии. Федор Иванович был человек беспартийный, но как-то само пошло, что при всяком новом начинании на руднике его приглашали в горком. Втайне старик гордился этим, и в таких случаях жена его, высокая, статная еще женщина, проводив Федора Ивановича до порога, как бы невзначай сообщала соседке:

— Мой-то опять в партийный горком пошел. Вызывают!..

И с привычным удовольствием выслушивала лестное:

— О-о!

На этот раз, впрочем, Анастасия Петровна услышала ответ, который несколько уязвил ее самолюбие:

— Да и мой туда же отправился...

Соседями Ширяевых были Фомичевы. Собственно, и Фомичев жил в поселке с незапамятных времен. Они и домик свой когда-то отстраивали сообща—Ширяевы и Фомичевы. И работал Фомичев, пожалуй, не хуже Ширяева, забойщик он был искусный. Но слава у Фомичева была потише, а кое-кто даже поговаривал, что он «мужик вздорный и корыстный». Неизвестно точно, откуда пошли эти разговоры. Может быть, поводом послужило то, что однажды, лет десять назад, Фомичев, обидевшись за что-то на администрацию шахты, покуражился, подписываясь на заем. Может быть, людям не нравилось, что на собраниях он шумно разглагольствовал насчет разной мелочишки, а про настоящие недостатки предпочитал помалкивать. Может быть, наконец, товарищи обижались на Фомичева за то, что в трудные годы он всегда умудрялся первым получить ордерок на мануфактуру или мед с подсобного хозяйства. Во всяком случае, нельзя было и сравнивать отношение горняков к Ширяеву и к Фомичеву. И вдруг теперь их обоих вызвали одновременно в горком, словно уравнив в чем-то невесомом, но очень значительном. Это было обидно!

Анастасия Петровна недовольно поджала губы.

бы и, уже скрываясь на своей половине домика, негромко сказала:

— Ну если и твоего потребовали, значит, дело не больно важное...

Но дело оказалось куда важнее, чем можно было предположить. Ширяева, Фомичева и еще добрых два десятка старейших шахтеров рудника просили перейти на «Фронтвичку».

— Нельзя пускать новую шахту без опытных кадров, — сказал секретарь горкома, открывая совещание.

Он стоял чуть согнувшись и опираясь кончиками пальцев о край своего внушительного письменного стола. Приглашенные горняки чинно сидели вполоборота к нему по обеим сторонам длинного, покрытого бордовым сукном, заседательского стола, который, как водится, узким краем примыкал к столу секретаря. Два графина с желтоватой водой стояли перед ними.

— Да, — повторил секретарь, — без опытных шахтеров дело не сдвинется. А потребности фронта диктуют досрочный пуск шахты. Мы, то есть городской комитет партии, решили обратиться к вам, товарищи... Кто из вас первый добровольно согласен перейти на «Новую»? Прошу высказываться...

Он грузно опустился на кресло и, давая людям собраться с мыслями, начал лезвием бритвы подтачивать и без того острый карандаш.

Все молчали.

Выждав минуты две, секретарь подвинул к себе лист бумаги и сказал, глядя не на людей, а в окно:

— Итак, товарищи, кто хочет слово? Может ты, Федор Иванович?

Секретарь не случайно возлагал надежды на Ширяева: старик имел гордый характер и любил начинать новые дела. Но на этот раз Федор Иванович, угрюмо посапывая, не торопился.

Неожиданно раздался высокий голос Фомичева:

— А жить где?

Как всегда, людям показалось, что Фомичев спрашивает о самом незначительном, хотя как раз мысли о жилье и о дальности расстояния должны были останавливать многих.

— Жить?

Секретарь опять поднялся и не то почесал, не то погладил ладонью круглую, коротко остриженную макушку.

— С жильем, товарищи, плохо, скрывать нечего. Мы собирались, сами знаете, вместе с шахтой отстроить целый новый поселок и в том числе стоквартирный дом для лучших стахановцев. Однако обстоятельства временно изменились.

Он покусал губы, оглядывая собравшихся.

— Жить пока придется здесь, — жестко закончил он.

— Это, значит, каждодневно по пять километров туда и обратно? — снова сказал Фомичев.

Опять наступило молчание.

— Трудновато, — в раздумье проговорил Елизар Кондратьевич Благих, невысокий с рябым лицом горняк, которого заглаза смолоду называли Блажных, соединяя в прозвище и его фамилию, и удивлявшую всех привычку после доброй выпивки читать нараспев никому неизвестные длинные и жалостливые стихи.

Ширяев все еще напряженно поспывал, размышляя о чем-то. Вдруг он решил.

— Позвольте? — приподнимаясь, сказал он, и тотчас, не ожидая ответа, заговорил: — ну, рассуждать не о чем — на «Новую» переходить придется. Но касательно расстояния товарищ Фомичев вопрос поставил правильно. Это вопрос, я бы выразился, производственный. Очень устанем — мало выработаем, меньше устанем — больше уголька дадим. Так вот, я предлагаю пустить от старого поселка до шахты «Новой» рейсовый грузовик, или там два — на манер автобусов. Остановку сделать, скажем, у горкома... Конечно, получится некоторый расход горючего, однако польза будет.

— Запишем! — повеселев, согласился секретарь. — Значит, сначала запишем: первым добровольно переходит на шахту «Новую» товарищ Ширяев, Федор Иванович...

Он быстро записал на приготовленном белом листе несколько слов. Потом, взяв другой такой же лист, снова обмакнул перо в чернильницу.

«Горком ВКП(б) предлагает Горсовету и начальнику шахты «Новая», — медленно, словно диктуя самому себе, начал секретарь, — организовать ежедневные трехразовые рейсы двух грузовых машин для перевозки горняков из старого поселка применительно к сменам...» Так, товарищи?

— Так, так, — одобрительно загудели все.

— Вели-ко-лепно! — уже совсем довольный, почти пропел секретарь. — Кто же, однако, следующий?

— Пиши меня, Михаил Ильич! — решительно мотнув головой, поднялся Блажих.

Записались все. Последним записывался Фомичев. Он долго вздыхал и жался, бормоча что-то насчет прохудившихся баленок, пока потерявший терпение секретарь не сделал вид, что убирает список в стол. Тогда, испугавшись, что его вообще отстранят, Фомичев с фальшивой развязностью закричал:

— А меня-то, меня, Михаил Ильич, не забыл?

— Тебя? — делая вид, что внимательно просматривает список, сказал секретарь, — тебя нет, не записал. Да разве ты согласен?

— А как же? — все с той же неискренней улыбочкой воскликнул Фомичев. — Я ведь пер-

вый хотел... только товарищ Ширяев никому не уступит, ему главное — прежде всех поспеть.

Он метнул злорадный взгляд на соседа: «Ага, съел?» и победоносно огляделся.

— В хорошем деле лестно первым быть, — как бы не замечая ехидства Фомичева, подтвердил секретарь и размашисто приписал последней в списке фамилию Фомичева.

Трудное время — пусковой период на шахте. И бригады еще не сработались, и механизмы капризничают, и того нехватает, и этого. Все хмурые, нервничают, злятся друг на друга. Первый месяц «Фронтовичка» плана не выполняла, хотя план был до смешного маленький. Ширяев приезжал домой усталый и раздраженный:

— Сразу же в отстающие попали, — угрюмо делился он с Анастасией Петровной. — Сроду на плохой шахте не работал, а на-кось, в войну пришлось...

— Так вы бы побольше таких героев, как Фомичев, набрали, — откликнулась Анастасия Петровна.

— А что Фомичев? Фомичев забойщик первоклассный и вовсе он тут ни при чем, — заступался Ширяев. — Людей нехватает, вот беда!

— Уж так-то Сибирь людьми оскудела?

— Ох и дура, вот дура, — вдруг срывался старик, — кто тебе говорит — оскудела? Народ есть, квалификации нет. Пришлые все, новички.

Он еще в забое поворачиваться не умеет, молотка боится, а ему план давать надо.

Но мало-помалу все наладилось. Пришлый народ привыкал к молоткам, к электросверлам, к тесноте забоя, к тому, что лес надо выдирать у десятника «басом» и к тому, что из-за порожняка стоит в дым разругаться даже с начальником шахты. И когда над копром «Фронтовички» впервые загорелась электрическая алая звезда — знак выполнения месячной программы — Федор Иванович Ширяев потребовал у жены пол-литра:

— Обмыть надо.

Обмывали с Фомичевым. Закусывали квашеной капустой, которую с особым искусством солила Анастасия Петровна.

— Вот и пошла наша «Фронтовичка», — солидно говорил Федор Иванович, разглядывая на свет стопку водки.

— А что же? И пошла. Обыкновенное дело! — поддакивал Фомичев.

— Я теперь так понимаю, — наливая по второй, рассуждал Федор Иванович, — мы с тобой с «Фронтовички» уже никуда...

— Никуда, — соглашался сосед.

— Живем мы с тобой вместе много лет, — продолжал Федор Иванович, — детишки вместе играли, когда малые были... Жены тоже ничего, не ссорятся. Как, Анастасия Петровна, не ссоришься с соседкой? — обернувшись к жене, спросил он.

— А чего нам делить? — с напускным равнодушием ответила та, еще не понимая, к чему клонит муж.

— Вот я и говорю — нечего, — добродушно согласился Федор Иванович, — и выходит, доживать нам с тобою наш век вместе.

— То-есть в каком это смысле? — отодвигаясь, удивился Фомичев.

— Эх ты, друг! — сожалительно рассматривая Фомичева, вздохнул Федор Иванович, — гляжу я на тебя и удивляюсь. Не умеешь ты вдаль видеть. Ну, совершенно не умеешь. Как по-твоему, поселок возле «Фронтовички» будет строиться?

— Ну, будет.

— Вот тебе и «ну»... И скоро будет. Стоквартирный, конечно, еще подождет, а вообще строительство попроще начнут быстренько. Без этого нельзя. А старикам, безусловно, первый почет окажут. Так вот, как полагаешь: следует нам с тобою загодя насчет общего домишки подумать или нет?

— Ай, и умен же ты, Федор Иванович! — искренно восхитился Фомичев.

— Значит, заметано! — довольный признанием соседа, сказал Ширяев. — По этому поводу следует еще по одной пропустить...

Он поболтал опустевшую бутылку и поровну разлил остаток.

— Дай бог, чтоб не последняя! — с чувством вздохнул Фомичев, опрокидывая стопку.

Вот так получилось, что и в новом поселке Ширяевы заняли один из первых коттеджей вместе с Фомичевыми. Но, как ни странно, на новом месте дружная жизнь соседей нарушилась. Казалось бы, совершенно нечего делить хозяйкам. Казалось бы, и кухня в коттедже просторнее, чем в старом домике, и чуланчик у каждой семьи особый, и под палисадник отведено достаточно земли. Но нет же! Начались трения.

То Анастасия Петровна встречается мужа с жалобами на соседку, то у жены Фомичева целый короб рассказов про обиды Ширяевой.

Мужья пробовали мирить женщин.

— Ерунда все это, — махал рукой Федор Иванович, — бабские пересуды. Не срамись, Анастасья. Что ты ее первый день знаешь! Слава богу, восемнадцать лет прожили стенка к стенке, надо бы привыкнуть.

Фомичев разговаривал в другом роде:

— Мне с Ширяевым ссориться не расчет — помни, Варвара! Его на руднике уважают, он всегда прав будет. Не доводи!

На некоторое время ссоры утихали, но только затем, чтоб вскоре разгореться с новой силой.

— С жиру бесятся наши жены, — как-то в приливе добродушной откровенности сказал Федор Иванович Фомичеву. — С тех пор как дочки уехали, я свою Анастасию Петровну не узнаю.

То ли тоскует, то ли от безделья унывает, однако характер заметно изменился...

— Вот-вот, — подхватил Фомичев, — Варвара моя так и говорит: Ширяха, мол, совсем ведьмой стала...

— Что-о? — угрожающе поднял брови Ширяев.

Он думал, закулив добрую самокрутку, отдохнуть в солидной мужской беседе с соседом, но сосед явно нарушал все правила приличия. В ответ на чистосердечные сетования Федора Ивановича Фомичеву полагалось по меньшей мере пожаловаться на свою супругу, и тогда оба они отвели бы душу, побранив женщин за их странные и неуживчивые характеры. Но вышло что-то совсем иное, неудобное и даже оскорбительное для Ширяева.

Уловив негодующие нотки в голосе Федора Ивановича, Фомичев сообразил, что промахнулся, и тотчас попытался исправить свою ошибку. Но было уже поздно. Старик с сердцем затоптал недокуренную самокрутку и, не оборачиваясь, хмуро зашагал к дому. Он ничего не сказал жене, но именно в этот день между обеими семьями началось настоящее отчуждение.

Анастасия Петровна и в самом деле очень тосковала по дочкам-двойняшкам, которые перед самой войной уехали в Томск учиться в институте. Ей нехватало материнских забот, и она охотно возилась с внуком Фомичевых. Это был толстый трехлетний мальчуган, называвший се

«баба-Натя». Его мать, старшую дочь Фомичевых, Ширяевы знали чуть не с рождения. Она была медсестрой в госпитале, и Анастасия Петровна с удивительным терпением выслушивала хвастливые рассказы Варвары о том, как любят раненные ее Катюшу. И письма Григория, второго своего сына, обучавшегося в Кемеровском горном техникуме, Варвара тоже приходила читать к соседке.

Но все это было, а теперь и для трехлетнего Юрки, который без спроса в любое время вваливался на половину бабы-Нати, дверь Ширяевых оказалась закрытой.

И так случилось, что даже в то девятое мая, когда по всей стране на улицах целовались незнакомые люди, над домиком Ширяевых — Фомичевых поднялись два отдельных, независимых красных флага.

Когда в тысяча девятьсот сорок шестом году в поселке заговорили о достройке стоквартирного дома, Анастасия Петровна оживилась.

— Тебе, Федор, непременно должны в этом доме квартиру дать, — поучала она мужа, — ты первый на «Фронтовичку» записался, этого не забудут. А в случае чего — прямо к Михаилу Ильичу, он поможет...

— Удобно ли? — усумнился Федор Иванович. — Всего три года, как в коттедж вселились...

Но Анастасия Петровна даже руками всплеснула:

— Коттедж! Барахло дощатое, а не коттедж! И бог весть с какими людьми пополам... Разве это люди? Нет, Федор Иванович, хватит, помаялись. Пора и нам о покое подумать, в своем углу хозяевами быть. Вот увидишь, Фомичев не постесняется, самую наилучшую квартиру отхватит...

— Почему это Фомичеву наилучшую?

— Я там не знаю, почему, а если ты зевать намерен, так и получится. Но только знай: я того не стерплю, я сама к Михаилу Ильичу пойду, я им все выложу...

— Н-ну, разошлась, старуха, — миролюбиво сказал Ширяев, — в доме ни лестниц, ни дверей, а ты уж сегодня переезжать готова.

— Тебе все хаханьки да хиханьки, — не унималась Анастасия Петровна, — ты заранее, заранее заявление подай: «Так, мол, и так, требую...»

— Требую! — начиная сердиться, заворчал Федор Иванович, — ишь ты, какая требовательница нашлась. У кого это я буду требовать? Нет, Анастасия Петровна, права Варвара Фомичева: ты совсем от спеси ума рехнулась...

— Ах, ты уже за Варвару заступаться вздумал? — угрожающе тихим голосом спросила Ширяева. — Ладно же, Федор Иванович, пусть я спесивая, пусть я ума рехнулась, а тебя бог и вовсе разумом обидел, если ты так с женой разговариваешь!

Она положила на стол плетеную сетку, с которой собиралась идти за хлебом, и, подняв голову, вышла вон.

Ширяев долго ходил по комнате, стараясь успокоиться. С чего это он вдруг обидел жену? Она ведь, пожалуй, дело говорила: не Ваське же Фомичеву дорогу уступать!

Впервые он назвал своего соседа уменьшительным именем. Два десятилетия прожили они бок о бок, и всегда почему-то Ширяев звал Фомичева только по фамилии, а Фомичев Ширяева величал Федором Ивановичем. Это было странно, но, пожалуй, правильно. — Вот и квартира... А ведь и в самом деле, кому же, как не Федору Ивановичу, должны дать квартиру в первую очередь? Старик вспомнил проект, висевший перед войной в стеклянной витрине: нежноголубое небо, круглые кроны деревьев, лакированная машина. Да, надо квартиру. Непременно надо. Свою. Отдельную. Чтоб никакой Варвары в кухне. Чтоб только он сам, да Анастасия Петровна, да Таня с Аней, если надумают когда-нибудь приехать.

На балконе он весной будет высаживать цветочную рассаду в ящиках. Вернувшись с шахты, вымывшись в выложенной кафельными плитками ванне, будет сидеть на балконе, попивать чай и читать газету. Потом включит приемник и услышит, как из Москвы, где в эту пору еще белый день в разгаре, передают хорошую музыку или последние известия. А в комна-

те, под пышным оранжевым абажуром, будет сверкать стосвечевая лампочка, делая нарядными и белоснежную скатерть на столе, и чашки в буфете, и фикус в кадке.

Федор Иванович так размечтался, что не заметил, как дверь тихонько скрипнула, пропуская пристыженную Анастасию Петровну. Умиротворенное, задумчивое лицо мужа удивило ее.

— Феденька, — неуверенно сказала женщина, — ты уж прости, Феденька. Погорячилась я малость...

— Ерунда, — великодушно отозвался Федор Иванович, все еще во власти своих мечтаний, — ерунда, старуха. Вот получим квартиру, заживем тогда как следует. Балкончик, ванная, радио заведем. Одни, без всяких этих соседств, без разных пересудов — сами себе хозяева...

Не понимая перемены, но довольная тем, что муж не сердится, Анастасия Петровна вздохнула:

— Ох, Феденька!

Она неловко обняла его лысеющую голову и, как в молодости, разглаживая тоненькие поседевшие прядки волос на висках, блаженно повторила:

— Феденька!

Вот с той поры и началось.

Каждый вечер, когда муж возвращался из шахты домой, Анастасия Петровна поджидала его на пороге:

— Ну, что слышно новенького?

Иногда он хитрил, притворяясь, что не понимает, к чему относится ее настойчивый вопрос, и начинал скороговоркой выкладывать шахтовые новости:

— Новенькое, спрашиваешь? План, значит, всем участком выполнили обратно на сто восемнадцать процентов, и начальник шахты очень благодарил. А Елизар Благих на инвалидность уходит, у него теперь сын главный механик в шахте... К Кондратьевой муж вернулся из армии, а она его пропавшим считала. До того радуется женщина, аж помолодела на двадцать лет!..

Анастасия Петровна невнимательно выслушивала все эти сообщения, которые раньше вызвали бы целый поток дополнительных соображений и замечаний. И едва Федор Иванович умолкал, она упрямо спрашивала:

— А с домом что слышно?

— Что с домом может быть? Все в порядке. Вчера, говорят, перекрытия проверяли. Обещают на той неделе полами заняться...

— О-ох, мочи нет, как у вас там тянут... А распределения еще не было?

Старик притворялся непонимающим:

— Распределения? Позавчера же, никак, я тебе ордер на валенки принес...

— Не мельтеши, — строго останавливала Анастасия Петровна. — Про валенки сама знаю. Распределения квартир не было?

— Ну какое же распределение, — морщился Федор Иванович, — какое же распределение, са-

ма посуды, если и лестницы еще не вполне готовы?

Однажды, возвращаясь с базара, Анастасия Петровна заметила, что витрина, в которой когда-то был выставлен архитектурный проект, а затем вывешивались сводки Совинформбюро, снова ожила.

После войны эта витрина довольно долго пустовала, и жители уже привыкли к ее запылившимся стеклам. Теперь раму заново покрасили, стекла протерли, и за стеклами снова появились какие-то большие исписанные листы.

У Анастасии Петровны была в одной руке тяжелая сумка с продуктами, в другой бидон с медом, и каждый лишний шаг казался ей тягостным. Но не подойти, не посмотреть — как же это?

Осторожно ступая по протоптанной в снегу тропинке, она подошла к витрине и прочитала большой рукописный лозунг:

„Закончить первую очередь к 25 апреля!“

Под этим лозунгом канцелярскими кнопками были прикреплены отпечатанные на машинке списки лучших стахановцев стройки. Поставив свою сумку прямо в снег, Анастасия Петровна принялась за чтение. Фамилии все были незнакомые, но одна ей почему-то очень понравилась: Мамочкин. Мамочкин был штукатур и работал на внутренней отделке дома. Всю предыдущую неделю он выполнял суточное задание на сто

восемьдесят процентов и шел первым в соревновании строителей.

— Вот какой молодец Мамочкин! — порадовалась Ширяева.

Теперь всякий раз, идя с базара, Анастасия Петровна делала крюк, чтобы взглянуть на витрину, и всякий раз убеждалась, что первым среди соревнующихся строителей попрежнему идет незнакомый Мамочкин.

— Видать, опытный человек, вроде моего Федора Ивановича, — подумала как-то Ширяева.

Всю дорогу до дома она размышляла о том, сколько на свете есть разных профессий и в каждой свои замечательные мастера, и как бы интересно собрать их всех однажды вместе да заставить рассказать про свои жизни: то-то поучительно вышло бы для молодежи...

Вечером она решила поделиться этими мыслями с мужем.

— Ты из строителей стоквартирного кого-нибудь знаешь?

Федор Иванович, отужинав, только собрался по неизменной привычке устроиться у окна с газетой. Он недоуменно поднял очки на лоб.

— Среди строителей? Да нет, не знаю, там одна молодежь. Сопляки эти из ФЗО...

— Ну, почему ж? А Мамочкин?

— Мамочкин, Мамочкин, — задумчиво повторил старик, — фамилия, как будто, знакомая... А какой он из себя, этот Мамочкин?

Анастасия Петровна только намеревалась сказать, что отроду его в глаза не видывала, как Федор Иванович радостно хлопнул рукой по газете:

— Да вот же твой Мамочкин!

На первой странице, в рамке из затейливых цветочков и листьев, на самом видном месте красовался портрет курносого подростка, с лихо заломленным треухом над веселыми глазами.

«Лучший штукатур-стахановец на строительстве стоквартирного дома в поселке шахты Новая, Андрей Мамочкин...» — прочитала оторопевшая Анастасия Петровна. Дальше в заметке рассказывалось, что Андрей Мамочкин всего три месяца назад окончил строительную школу ФЗО и был выпущен прямо на стройку стоквартирного дома, где с первых же дней прочно завоевал первое место в соревновании на внутренней отделке.

— Видать, толковый парнишка, — сказал Федор Иванович, складывая газету, — а ты все ругаешься на ремесленников: хулиганье, мол, и бездельники. Вот тебе и бездельники!

Анастасия Петровна и в самом деле недолюбливала шумных, острых на язык ребят, одетых в форму ремесленных училищ и, если замечала кого-нибудь из них возле своего дома, тотчас занимала оборонительную позицию у калитки палисадника, чтобы заранее предотвратить всякие попытки вторжения. Она знала, что рыхлая и ленивая Варвара Фомичева не прочь залучить

к себе какого-нибудь из таких мальчишек, чтоб не спускаться самой в погреб за картошкой или натаскать воду для стирки.

— У самой руки есть, — неприязненно отвечала Ширяева, когда иной парнишка через забор предлагал ей свои услуги.

Нет, не доверяла Анастасия Петровна этим ребятам в форменных бушлатах не по росту и тонких, не по сезону, бумажных брюках.

— Так что ты говорила про Мамочкина? — спросил Федор Иванович, снова опуская очки на нос и раскрывая газету на том месте, где публиковались международные телеграммы.

Но Анастасия Петровна притворилась, что ей спешно надо на кухню.

К маю сорок седьмого года дом застеклили и подготовили к сдаче.

В коробке, оклеенной ракушками («Привет из Ялты», привезенный когда-то с курорта Федором Ивановичем), вместе с орденом и медалью мужа Анастасия Петровна хранила теперь ордер на будущую квартиру.

Чертежный шрифт «рондо» торжественно поведствовал о том, что ордер этот выдан начальнику восьмого участка шахты «Новая» («Фронтovichка») Ширяеву Федору Ивановичу. «Предоставляется двухкомнатная квартира № 42, 4 подъезд, второй этаж 1-го дома Соцгорода» — было выписано меж печатными типографскими строчками. Далее следовала замысловатая

подпись начальника шахты и жирная лиловая печать.

Переезжали 28 апреля. Анастасия Петровна с ног сбилась, укладываясь и собираясь. Вещей, когда их тронули с места, оказалось вдруг очень много, и все было нужное, привычное, хотя и старенькое.

— Фомичев из себя выходит, — в сотый раз начинал рассказывать Федор Иванович, беспомощно тыкаясь меж загромождавших кухню узлов, — ему во вторую очередь дают... Он и в трест ходил — не помогло.

— Неужели не помогло? — рассеянно переспрашивала Анастасия Петровна, хватаясь за старую детскую ванночку, в которой гроыхала медная ступка.

Торжество ее было настолько полным, что она даже могла бы посочувствовать этой несчастной Варваре, которая к старости осталась с озорным внучонком на руках, потому что Катя вышла вторично замуж и все еще странствовала где-то со своим мужем — капитаном.

Перебрались к полночи. Еще не было оранжевого абажура на лампе, еще на балконе лежал опавший, как вчерашний воздушный пирог, ноздреватый апрельский снег, еще туго открывались краны в ванной, у душа нехватало самой лейки-дождичка, а во всех комнатах кое-как грудились нераспакованные вещи, и все-таки квартира № 42 (4 подъезд, второй этаж) уже стала домом Ширяевых.

Федор Иванович ходил из первой комнаты во вторую, отворяя дверцы стенных шкафов, по долгу простанвал у новенькой плиты в кухне, затем шел в ванную и громко, со вкусом щелкал выключателем.

— Удобство! — говорил он, ощупывая скромную полочку для мыла над умывальником.

Анастасия Петровна расставляла в кухне кастрюли и шумно радовалась:

— Могу и масло не убирать, и соль не прятать. Уж никакая Варвара руку не занесет...

За двадцать лет совместной жизни Варвара Фомичева не взяла у Ширяевых и спички без спроса, но Анастасии Петровне нравилось теперь думать иначе.

— А кого к Фомичевым в нашу половину подселяют? — поинтересовалась она, заколачивая первый гвоздь в новую стенку.

— Надо быть, из старого поселка переедут. Шахта-то опять расширяется. К пятому, не то к десятому мая сотый горизонт пускают.

— Ну?! — искренно удивилась Анастасия Петровна.

Раньше не могло случиться, чтоб она одной из первых на руднике не знала о такой новости! Никогда не бывав в шахте, Ширияха, как называли ее соседки, отлично разбиралась во всех шахтовых делах. Она понимала, что значит уголь крепкий и слабый, какой бур лучше для электро-сверла, почему опаснее, но выгоднее работать в длинной лаве, сколько лесин требуется для кре-

плесня забоя и многое еще, чего не знали даже некоторые шахтеры. Со слов мужа она повторяла, что Даша-ламповщица, ведавшая ламповым хозяйством шахты, девушка памятливая и боже упаси с нею поссориться — хорошей лампы уже не жди. Она знала, что начальник ОКСа — пустобрех и пьяница, а главный механик — серьезный человек и «глядит в будущее». С годами по лицу Федора Ивановича она научилась определять, выполнен ли суточный план. Когда-то, давно, он отвечал только за себя лично, потом за всю бригаду, теперь — за целый восьмой участок, начальником которого был. Росли планы, увеличивалась ответственность, но Анастасии Петровне достаточно было взглянуть на лицо мужа, чтобы подвести рабочий итог суток. Две дочки, которых двадцать четыре года назад родила она мужу, отнимали у нее не так много времени, чтоб стоять в стороне от жизни рудника. Анастасия Петровна ревниво следила за доской почета и открыто гордилась тем, что из месяца в месяц видела там во главе списка свою фамилию. Как же вышло, что она упустила такое событие — пуск нового горизонта?

— Все с квартирой этой, — смущенно и быстро сказала Анастасия Петровна. — А кто же проходку вел?

Он ответил ей скупой, неохотно, думая о том, что и сам мало знает о таком большом событии.

Анастасия Петровна продолжала расспрашивать:

— Ну ладно, новый горизонт... А работать кто будет? Шахтеров откуда возьмут?

— Откуда, откуда! — окончательно рассердился Федор Иванович. — А я почему знаю?.. Спрашивай у начальника шахты, он тебе весь пятилетний план доложит.

И опять подумал, что последние два месяца не следил за тем, как идет выполнение пятилетки по бассейну и какое место среди трестов Кузбасса занимает их трест.

— Совсем тут одичаешь в этой отдельной квартире, — зло сказал он вслух.

— Чего это ты? — искренно удивилась Анастасия Петровна.

— Ничего.

Ширяев прошел в переднюю, оделся, даже не поглядев на удобную стенную вешалку, с которой снимал пальто, и вышел.

Почти бегом он одолел те триста метров, которые отделяли дом от шахты. Только что кончилась смена. Тяжелая, на пружине, дверь шахтоуправления раскрывалась поминутно. Шахтеры со следами торопливо смытой угольной пыли на лицах выходили на улицу. При свете мощного прожектора, раскачивавшегося на столбе перед самым зданием, глаза их, окаймленные этой угольной пылью, казались подведенными. Все это было так привычно для Федора Ивановича, что он не замечал ни гулко бухающей двери, ни прожектора на столбе, ни тем более угольной пыли на лицах.

— С восьмого участка уже поднялись? — машинально спросил он кого-то.

— Да-авно, — ответил голос, — первыми поднимались. У них двести процентов.

Двести — это было хорошо. Его участок шел впереди: если двадцать девятого и тридцатого дадут ту же выработку, переходящее знамя горкома останется у них. Но главное было даже не в знамени. Главное заключалось в том, что участок обязался полугодовой план выполнить к маю и обещание сдержал. Теперь, на первомайском торжественном вечере Федор Иванович думал объявить, к какому дню восьмой участок берется закончить годовой план.

Не встретив никого знакомых, Федор Иванович заглянул в раскомандировку. Там тоже было пусто. Он прошел мимо таких же пустых комнат начальников участков в коридор, который вел к кабинету начальника шахты. Уборщица в старых резиновых чунах мыла пол.

— Никого нет? — спросил у нее Ширяев.

— Как это никого? Все есть, — не распрямляя спины, ответила старуха.

— Где ж они есть?

— А в парткоме, — она увидела, что он топчется в нерешительности перед разлившейся во всю ширину коридора лужей, — сейчас подотру, пройдешь...

У него нехватило терпения ждать, он перешагнул и, конечно, ступил в воду. Потом, осторожно, на цыпочках, как это делал дома, когда

шел по только что вымытому Анастасией Петровной полу, добрался до дверей парткома. Оттуда доносился громкий голос начальника шахты:

— Триста восемьдесят человек их, понимаешь? Триста восемьдесят...

Федор Иванович толкнул дверь. Все обернулись.

— А, товарищ Ширяев, милости просим! — сказал парторг и, обращаясь к начальнику, сухо заговорил: — Я-то понимаю. А ты, Степан Степаныч, о чем думал? По твоей же заявке присылают.

— Да разве я мог ждать, что всех сразу?..

— Мог не мог, а теперь придется принимать.

— Но куда, куда я их расселю? — страдальчески закричал начальник.

Федор Иванович нагнулся к главному инженеру, молчаливо рисовавшему на промокашке какие-то сложные фигурки:

— Пополнение?

Тот кивнул, дорисовывая ехидного чертика, и, склонив голову набок, мгновение полюбовался своей работой.

— Триста восемьдесят фе-зе-ошников, — брезгливо сказал он, — дети по существу. Какой от них толк? И куда их девать?

— Да я к себе кого-нибудь возьму, — сказал Федор Иванович.

— Куда к себе? На квартиру? — повысив голос и ненатурально поднимая брови, переспросил инженер.

— Почему на квартиру? На участок! — не понял Федор Иванович.

— А-а! На участок! Это дело маленькое. В шахте мы их рассуем. Нет, тут в жилье дело, — снова принимаясь рисовать, лениво объяснил инженер.

Но короткий их разговор достиг слуха парторга.

— А что, если... — медленно начал он, — что, если послезавтра на майском вечере поставить вопрос о подселении к старым шахтерам?.. По коттеджам, да и... в стоквартирном, может, некоторые согласятся?

Он мимоходом, искоса, глянул на Федора Ивановича. Тот ответил испуганным взглядом и тотчас отвел глаза. Лицо его сразу побурело.

— Идея! — просветлев, сказал начальник. — Богатая идея! Ты, парторг, поставь этот вопрос. Ну, конечно, надо заранее кое-кого подготовить...

Он тоже искоса поглядел на Ширяева. Главный инженер оторвался от рисунка и, усмехаясь, насмешливо раздул тонкие ноздри. Но Федор Иванович так плотно стиснул губы, словно дал зарок никогда не разжимать их.

— Ну, так. На этом пока и порешим, — поднимаясь, сказал парторг.

— Уже час ночи, — с томной усталостью протянул главный инженер, бросая взгляд на свои ручные часы.

— Да, поздненько... А ты, Федор Иванович, по делу или случайно заглянул? — вспомнив,

что Ширяев только что пришел, повернулся парторг.

— Случайно.

— Ну-ну. Переехал?

Старик хмуро кивнул в ответ.

— Или недоволен чем-нибудь? — понижая голос, быстро спросил парторг. — Квартира-то хороша ли?

— Благодарствуйте, очень хороша, всем хороша, — степенно начал Федор Иванович и вдруг, сорвавшись, тонко пискнул: — Да что вы ко мне все с квартирой да с квартирой, будто других разговоров нет или я сто тысяч выиграл? Ну, квартира... Ну, получил. Могу, кажется, спокойно на старости лет такое великодушие принять. Хватит, намаялся, пожил в собачьих конурах, пора и отдохнуть немного...

Он говорил быстро, горячо, словно убеждая самого себя в чем-то.

— Ну, правильно, правильно, — успокаивающим голосом сказал парторг, — конечно, тебе, Федор Иванович, следует отдохнуть. Кому же, как не тебе такая квартира? Кажется, ведь первому и ордер вручали.

Но Ширяеву хотелось жаловаться и видеть сочувствующие лица.

— А тут все смотрят, будто я украл что, — уже явно и сознательно преувеличивая, продолжал он.

— Да помилуй, что ты? — возразил парторг. — Наоборот, про тебя никто слова не ска-

зал. Единогласно первым претендентом выдвигали. Ну, айда, что ли?

Он повернулся к остальным, показывая, что неприятный разговор закончен.

Федор Иванович, не дожидаясь никого, вышел в коридор.

— Как разошелся старик! — глядя ему вслед, негромко заметил главный инженер. — Вот передовой, передовой, а только почувствовал, что его личные интересы в опасности, тотчас ошетинился.

— А вы бы пожили, как он, — грубовато ответил парторг, — поскитались бы до шестидесяти лет по землянкам и хибаркам... Интересно, каким бы вы после этого стали?

Главный инженер неопределенно пожал плечами и отошел. Начальник шахты расстроенным голосом сказал:

— А я, признаться, рассчитывал на его почин... Ч-черт! Не выйдет, кажется...

— Пошли, — решительно шагнул к двери парторг. — Я завтра соберу бюро, подумаем. А Шириева трогать не надо.

Он взял управляющего под руку и, стоя в коридоре, о чем-то заговорил с ним вполголоса.

Федор Иванович в глубоком раздумье вышел из шахты. Снег местами еще не стаял, апрель был холодный. Прожектор на столбе далеко отбрасывал колеблющиеся полосы света. Шириев шел сгорбившись, не разбирая дороги. Иногда

он разводил руками, словно рассуждая с самим собою.

Так он добрел до пятого магазина, сразу за которым начиналась улица коттеджей и первым по левой руке стоял коттедж Ширяевых и Фомичевых. Федор Иванович встревоженно остановился. В левой половине дома было непривычно темно, окна без занавесок казались печальными.

Несколько мгновений Федор Иванович не мог сосредоточиться и тяжело соображал, что случилось, потом вдруг выругался сквозь зубы. Круто повернув, он пошел обратно к стоквартирному дому, который огромной темной громадой высился над поселком. Почти у самого подъезда он заметил свет в окнах второго этажа. На одном из этих окон висели знакомые тюлевые занавески.

— Ждет, однако, — смягчаясь, подумал Ширяев.

Анастасия Петровна в самом деле ждала. Сидя за новеньким кухонным столом, она писала Ане и Тане.

— Боюсь, пошлют они письмецо на старый адрес, — объяснила она, — а нас там нет. И пропадет письмо.

— Нашли бы тебя — не иголка!

Вешая пальто, Федор Иванович огляделся. Квартира уже приняла более жилой вид.

— Вот в этой комнате, думаю, сделаем спальню, — следя за взглядом мужа, сказала Анастасия Петровна, — а тут...

Она запнулась в нерешительности.

— Ну, ну? — поощрительно спросил Федор Иванович.

— Видишь, какое дело... Столовая отдельная, я полагаю, нам не нужна, кухня сама, как столовая — большая, светлая, да и удобнее — все под рукой. Так в этой, во второй-то комнате, диван поставим, приемник, круглый столик, ну — буфет можно... Вроде и столовая, и гостиная... Чтоб было, где людей принять. А если Танечка с Анечкой захотят приехать, то будет это их комната. Правильно?

— Можно, — рассеянно ответил Ширяев.

Следующий день не принес никаких особых перемен. Ширяев с утра ушел на шахту и вернулся поздно. Сядясь ужинать, он вынул из кармана пиджака пахнувшие типографской краской билеты на первомайский вечер. На белой глянцевиной бумаге победоносно реяло красное знамя.

— Я завтра в вечер работаю, — пряча глаза, сказал он, — пойдешь одна?

— Работаешь? Как же это?!

Анастасия Петровна растерянно поглядела на мужа. Начальник передового участка и вдруг не пойдет на торжественный вечер? Разве не его участку будут вручать знамя горкома партии? Наверно, случилась какая-нибудь беда, завалили план, не выполнили обязательств, если Федор Иванович не хочет быть на вечере...

— Как же это ты не пойдешь? — уже не скрывая беспокойства, повторила женщина.

— Сказано: работаю, — раздражаясь, повысил голос Федор Иванович. — Кому-нибудь надо работать или нет? Вот я завтра дежурный...

— Да разве не могли другого поставить?

— Значит, не могли.

Федор Иванович шумно отодвинулся от стола, показывая, что разговор окончен. Два нарядных билета остались сиротливо лежать на клеенке.

Утром тридцатого Федор Иванович встал рано, хотя на шахту собирался только ко второй смене. Он был молчалив и задумчив, но без вчерашнего раздражения. Анастасии Петровне он помог передвинуть буфет и вместе с нею устанавливал диван в первой комнате.

— Колпак обязательно надо, — сказала Анастасия Петровна, запрокидывая голову и разглядывая болтавшуюся под потолком голую лампочку на длинном шнуре.

— Ага, — кротко сказал Федор Иванович, — надо...

— В спальне-то старый сойдет, — объясняя, продолжала она, — а тут бы хорошо шелковый, с кистями...

— С бахромой, думаешь?

— Или с бахромой.

— Ну что ж? — все так же кротко согласился Федор Иванович, — пока время есть, я в универмаг схожу, может попадется подходящий.

Анастасия Петровна зорко взглянула на мужа. Что это с ним нынче? Однако вслух она сказала спокойно:

— А сходи, сходи. К празднику хорошо бы совсем убраться.

Вернулся Федор Иванович в полдень. В одной руке он нес завернутый в оберточную бумагу абажур, — оранжевый, большой, с шелковой бахромой — точь-в-точь такой, о каком мечталось, когда новый дом еще зиял пустыми глазницами окон. Другой рукой он держал какую-то картину, тоже завернутую в оберточную бумагу.

— План выполнен с превышением, — шутили во объявил он с порога и протянул абажур жене. — Получай подарок, старуха!

— А картина какая?

— Сейчас увидишь.

Он бережно освободил от бумаги свою покупку. Репродукция с картины — Ленин и Сталин в Горках — глянула с полотна на стариков.

— О-о!

— Единственная там и была такая, — горделиво сообщил Федор Иванович. — Я так подумал: ежели взять отдельные большие портреты, то вроде как зал заседаний получится... А хочется и Владимира Ильича и Иосифа Виссарионовича постоянно перед своими глазами иметь. Вдруг гляжу—эта картинка. Одна единственная. «Продается?» — спрашиваю. «Продается!» — «Дайте мне ее», — говорю. А тут, смотрю, рядом

Благих стоит, ус свой покусывает. «Чего ты?» — удивляюсь. «Да быстрый у тебя характер, Федор Иванович, — говорит, — пока я стоял, раздумывал, покупать или не покупать, ты уже и забрал...» Ну, я ему объяснил, что на хорошее дело надо решаться сразу, а то как раз опоздаешь... А колпак он такой же взял: «Пусть, говорит, одинаково наши окна светятся...»

Ширяев рассказывал быстро, весело, словно вознаграждая себя за утреннее молчание.

— У Благих на первом или на третьем этаже квартира? — осведомилась Анастасия Петровна.

— На третьем. Завтра обещал вечером зайти. Ты уберешься за день-то?

— Да у меня и сейчас почти все готово. Вот картину повесим.

Картину повесили над диваном. Абазур прилаживал сам Федор Иванович. Взгромоздясь на сложное сооружение из обеденного стола, табуретки и ящика, он долго уравнивал золотистые шнуры, а Анастасия Петровна снизу подавала советы. Наконец, все было сделано, и, строго оглядев свою работу с порога, Федор Иванович заторопился.

— Еще опоздаю, чего доброго... Давай обедать.

Как всегда, Анастасия Петровна сама вместе с мужем не ела, а только подкладывала ему на тарелку то любимую мозговую косточку из супа, то кислой капустки к жирному куску баранины. Подавая компот, она отважилась снова спросить

— Так, может, придешь все-таки на вечер?

— Не приду, — сразу мрачней, отрезал он и, помолчав, добавил: — А ты непременно иди... Расскажешь мне после, как знамя вручали и... вообще все...

— Кому знамя-то? — замирая, спросила Анастасия Петровна, полагая в этом всю разгадку необъяснимого поведения мужа.

— Как это кому? Нам, конечно, восьмому участку...

— Так почему же, почему же ты-то не идешь? Кто же знамя принимать будет? — чуть не плача, воскликнула Анастасия Петровна.

Но, молча напяливая шапку-ушанку, старик сделал вид, что не слышит ее отчаянных вопросов.

— Раньше утра не жди, — уже с лестницы крикнул он, и дверь гулко стукнула.

Ровно в восемь часов вечера Анастасия Петровна входила в ярко освещенный зал шахтового клуба. Клуб отстроили только в прошлом году, и он еще блестел той парадной новизной, которая всегда радует глаз. Большое зеркало у входа отразило высокую, сильную фигуру Ширлихи, и она сама осталась довольна тем, как сидит на ней парадное темнозеленое шелковое платье с кружевным воротничком. Платье это в прошлом году, окончив медицинский институт и уже получив назначение на работу, привезли ей в подарок дочери, и она надевала его только в самых торжественных случаях.

- Анастасии Петровне!
- С праздничком, Анастасия Петровна!
- Ну, как, переехали? Устроились?

Она едва успевала отвечать на приветственные возгласы и вопросы.

— А где же супруг? — здороваясь с Ширяевой, спросил главный инженер шахты и галантно отступил на шаг, чтобы пропустить Анастасию Петровну к ее месту.

— Дежурит мой Федор Иванович нынче, такая, знаете, незадача, — наивно пожаловалась Анастасия Петровна.

— Де-е-журит? — растягивая первый слог и по своей привычке поднимая брови, неприятно изумился инженер. — Как же это могло получиться? Главный герой вечера и вдруг де-е-журит! — (Он печально и сочувственно покачал головой). — Нет, тут что-то не так, не так.

Анастасия Петровна почувствовала, как сердце ее тоскливо сжалось, но в это время к ним подошел начальник шахты.

— Товарищу Ширяевой мое нижайшее!

Начальник был, как обычно, подчеркнуто приветлив и любезен. Он считал, что внимательное отношение к женам стариков входит в его деловые обязанности.

— Как это могло получиться, что э... э... Федор Иванович Ширяев сегодня дежурит? — делая ударение на слове «сегодня», с той же неприятной настойчивостью спросил инженер.

В глазах управляющего мелькнула короткая досада, но он тотчас погасил ее и с преувеличенной озабоченностью закивал головой:

— Да, да, представьте, никак нельзя было иначе. Ответственнейшее дежурство. Ответственнейшее. Кому доверишь, кроме Федора Ивановича?

Он еще раз кивнул. Анастасии Петровне и устремился за сцену, где собирались гости из города.

Около девяти парторг Горбылев открыл вечер. Анастасия Петровна, сидя во втором ряду рядом с главным инженером, рассеянно слушала фамилии тех, кого выбирали в президиум. Она знала каждого и заранее предугадывала, кого назовут следующим. Начальник шахты неожиданно взял слово для дополнения:

— Предлагаю избрать в президиум Ширяеву Анастасию Петровну, супругу нашего уважаемого Федора Ивановича, который, к сожалению, сегодня на вечере присутствовать не может. Анастасия Петровна всю свою жизнь, как верный товарищ, шла об руку...

Остального она не слышала: грянули долгие, дружные рукоплескания и главный инженер, кривя рот, зашептал ей в самое ухо:

— Идите же, идите на сцену... Видите, какая овация!

Багровая от смущения, не зная, куда смотреть, она неловко поднялась и стала выбираться из ряда, наступая на ноги соседям. Когда смуще-

ние ее слегка улеглось и она уже прочно утвердилась за убраным хвоей столом президиума, в зале опять стояла тишина. Парторг делал доклад. Он говорил о празднике международной рабочей солидарности и вдруг перешел к тому, что должно было составить главное в его сегодняшней речи.

— Вот, в связи с пуском сотого горизонта, товарищи, — говорил Горбылев, — к нам прибывает пополнение. Триста восемьдесят выпускников школ ФЗО. Это будущие кадровики Кузбасса, наша с вами смена, товарищи. Но сегодня это еще самая зеленая молодежь. Девчонки и мальчишки, можно сказать. Никогда еще они самостоятельно не жили, никогда еще не работали — все для них в новинку. В школах ФЗО у них были и мастера обучения, и воспитатели, и директор, и вообще твердая дисциплина. До этого, дома, папаша с мамашей их в узде держали. А тут вдруг сразу — пожалуйста, взрослые рабочие. Ему, может, шестнадцать лет нету, а он сам себе хозяин...

Зал, притаившись, внимательно слушал. Анастасия Петровна, следя за речью Горбылева, согласенно кивала головой. Ее двадцатичетырехлетние дочки все еще представлялись ей малыми и неразумными девочками, и в душе она не понимала, кто это всерьез считается с ними и как им доверили лечить каких-то людей.

«Молодые же еще, глупые, — растроганно думала она, — а тут — шутка сказать! — шест-

надцатилетние. В шахте, может, отроду не были. у мамы с папой под крылышком росли, и сразу...»

Увлеченная собственными мыслями, она на несколько минут потеряла нить рассуждений Горбылева и вдруг услышала:

— ...По существу, /негде даже расселить... Сейчас в ускоренном темпе будем достраивать общежитие против бани и одновременно строить второе — рядом с поликлиникой. Но все-таки пройдет не меньше двух месяцев, пока можно будет туда въезжать. Да и общежития-то на двести пятьдесят коек от силы. А куда остальных?.. И вот мы подумали. Может быть, старые кадровики нашей шахты захотят проявить солидарность советских трудящихся? Может быть, найдутся среди нас охотники принять к себе в семьи этих молодых рабочих? Я имею в виду товарищей, живущих в коттеджах и получивших квартиры в новом стоквартирном доме... Конечно, дело это сугубо добровольное, навязывать подселенцев вам никто не может и не станет... Да и вообще, тут надо все взвесить. Знаете, говаривалось прежде: незваный гость хуже татарина... Их ведь именно в семью придется принимать: и постирать, может, случится, и вообще по-свойски. Так уж заранее надо все обдумать, с женами посоветоваться, чтоб потом не итти на пятую...

Горбылев продолжал еще о чем-то говорить, но Анастасия Петровна уже не слушала. Ей

вдруг представился портрет штукатура Мамочкина в газете, — озорной мальчишка в треухе набекрень, — и тотчас быстро-быстро замелькали смутные, противоречивые мысли.

«Таких-то, как Мамочкин, можно бы в гостиную-то даже и двоих поселить... Что это я, в гостиную? А мы сами как же? Маялись, маялись, только я от Фомичевых избавилась и на-те... Нет уж, довольно! Неведомо кто попадется, а тут еще стирай на него. Да и воришка, может, какой... Почему воришка? Разве не могло такое же с Анечкой или Танечкой быть? Тоже, наверно, чьи-нибудь рабочие дети. Мать, может, как я, ночи не спит, беспокоится... Хоть бы мой-то тут был, решил бы... Уж он решил бы! Уж он первый бы вызвался! Уж я его сердце знаю, ни за что не допустит, чтоб вторым быть... Ему, конечно, хорошо. Он целый день на шахте, а мне — возись. Не на день, не на два, небось. В семью, говорят. Шутка ли, в семью нивесть кого принимать?.. Хорошо, если, как Мамочкин. Такого-то в семью приятно... А что, в общем, за семья у нас теперь? Одни со стариком. Дочки-то уж, ясно, не вернутся. Так и доживать одним! Даже стыдно такую квартиру вдвоем занимать... И ничего не стыдно, заслужил Федор Иванович, сорок лет спину гнул — можно по-человечески пожить. А что человеческого? Придет с работы и сиди один, как сын. Тут хоть словом перекинуться будет с кем. И, опять же, поучить может, опыт свой передать. Как он смо-

лоду сына-то, горняка, хотел! Все мечтал: выучу его, знатным забойщиком будет. Может, этим подселенцем утешится?..»

Ничего не решив, Анастасия Петровна очнулась от своих мыслей, когда оркестр, спрятанный где-то на хорах, заиграл торжественный туш и перед столом президиума появился неузнаваемо нарядный, сияющий Кондрат Соломасин, бригадир лучшей бригады забойщиков восьмого участка, а представитель горкома партии, держа обеими руками тяжелое бархатное знамя с золотым шитьем, торжественно объявил:

— Лучшему участку, закончившему полугодовой план в четыре месяца...

Как на любительской, туманной фотографии, Анастасия Петровна увидела, что Соломасин принимает знамя. Слезы застилали ей глаза. Потом она услышала голос Соломасина:

— ...по праву принадлежит нашему уважаемому начальнику передовому горняку Федору Ивановичу Ширяеву...

Она не успела вникнуть, что же принадлежит по праву «передовому горняку Федору Ивановичу Ширяеву»; снова грянул оркестр, и все захлопали так, что в ушах зазвенело. Парторг объявил, что на этом торжественная часть вечера закончена, а после антракта будет концерт. И в зале все задвигалось. Какие-то люди спешно убрали со сцены стол президиума, стулья, гирлянды елок и графины с водой.

Анастасия Петровна, все еще взволнованная своими мыслями, которые, казалось ей, читает каждый, машинально прошла в фойе. Ее тотчас окружили, поздравляя за мужа.

О предложении Горбылева никто не говорил, только Соломасин, занимавший половину такого же коттеджа, как тот, в котором жили Ширяевы, проходя со знаменем мимо Анастасии Петровны, весело подмигнул ей и будто о чем-то обоими ими решенном сказал:

— Горбылев, наверно, послезавтра в парткоме будет принимать заявления насчет подселенцев...

И тут Анастасии Петровне вдруг вспомнилось, как Федор Иванович, придя из универмага с картиной и абажуром, пересказывал ей свой разговор с Благих:

«На хорошее дело надо решаться сразу, не то как раз опоздаешь...»

Она торопливо выбралась из круга обступивших ее знакомых и, словно в самом деле боясь опоздать, принялась разыскивать Горбылева. Нашла она его не сразу. Горбылев стоял с начальником шахты в полутемном коридорчике, вешающем на сцену, и курил папиросу.

— Тимофей Константинович, — задыхаясь, точно бежала целый километр, сказала Ширяева, — Тимофей Константинович, я насчет подселенца... Вот вы давеча говорили... Из этих, из выпускников. Вы определите к нам, пожалуйста,

хорошего паренька, мы же теперь вдвоем с Федором Ивановичем остались...

Парторг внимательно посмотрел на Ширяеву и вынул изо рта папиросу.

— А... Федор Иванович о вашем намерении осведомлен? — осторожно спросил он.

— Н-нет, откуда же? Он ведь дежурит сегодня, — на мгновение смутилась Анастасия Петровна, но тотчас убежденно добавила, — да что это вы, будто его не знаете? Он во всяком хорошем деле первый, все опоздать боится.

— Да, да, — переглядываясь с Горбылевым, подтвердил начальник, — это точно. Но все-таки вы бы посоветовались с мужем, товарищ Ширяева. Дело серьезное...

— Мы так условимся, — решительно сказал парторг, — я себе ваше пожелание отмечу, но вы обсудите с мужем и послезавтра, если не передумаете, пусть он зайдет в партком. Хорошо?

— Хорошо, — сказала Анастасия Петровна — зайдет. Не передумаем...

С шахты Федор Иванович вернулся утром Первого Мая в великолепном настроении. Светило яркое солнце, день выдался по-настоящему весенний.

— Двести восемь процентов в честь праздника! — объявил он еще в передней. — Вот, старуха, как работаем...

Он долго, с наслаждением фыркая, мылся в ванной, потом растирался мохнатым полотенцем

и вышел в кухню с раскрасневшимся, помолодевшим лицом.

— Ну, как вчера на вечере было? — усаживаясь за стол, спросил он.

Анастасия Петровна в переднике поверх того же темнозеленого праздничного платья хлопотливо расставляла какие-то тарелки.

— На вечере? Очень хорошо. Меня в президиум выбрали...

— Н-но? — с шутливым изумлением отозвался Ширяев. — За что же тебя-то?

— А за то, что с тобой четверть века живу, — так же шутливо ответила она.

— Ишь ты! За хорошее поведение, значит?

— За долготерпение...

Она, улыбаясь, подвинула ему графинчик с водкой, селедочку, залитую, как он любил, постным маслом с уксусом и покрытую колечками розоватого лука.

— Ну, с праздником, Анастасия Петровна!

— С праздником, Федор Иванович!

Они сердечно чокнулись и оба вместе выпили свои рюмки.

— Знамя Соломасин принимал?

— Ага... Нарядный такой и, значит, говорит, что принимать надо бы по праву передовому горняку Федору Ивановичу Ширяеву...

— Молодец, — спокойно одобрил старик, — не забывается. Ну, а еще что было?

Тут Анастасия Петровна вспомнила главное. Вот сейчас бы и сказать... Она взглянула на му-

жа, на свою новую, светлую кухню, на празднично убранный стол, почему-то вдруг подумала про оранжевый абажур в гостиной и оробела.

— Еще что?.. — повторила она слова мужа. — Еще Горбылев доклад делал, потом концерт был...

— Доклад хороший? //

— Да ничего...

Опять была подходящая минута, чтоб сказать, и опять она не воспользовалась.

Покончив с завтраком, Федор Иванович встал из-за стола, потянулся и, глядя в окно, сказал:

— Поспать бы надо, да день такой веселый — жаль упускать. Может, погуляем маленько ради праздника?

— А что ж? Сейчас уберу посуду и пойдем.

Анастасия Петровна даже обрадовалась прогулке, как отсрочке. На народе о серьезных делах не говорят. Она быстро прибрала все со стола и, доставая из стенного шкафа пальто, сказала:

— Так пойдем?

Они вышли и сразу очутились в потоке таких же, как сами, степенно прогуливающихся людей. Где-то неподалеку играли на баяне и звонкий, высокий голос выводил:

Играй, мой баян,

И скажи всем друзьям...

— Молодежь! — почему-то вздохнул Федор Иванович.

Они свернули на главную улицу и почти тотчас лицом к лицу столкнулись с Фомичевыми.

Секундное замешательство отразилось на лицах всех четверых. Первым нашелся Фомичев.

— Анастасия Петровна! Федор Иванович! С праздничком! — он снял кепку и, размахивая ею, растянул губы в веселую улыбку.

— С праздником, с праздником, — суховаато ответил Ширяев, делая шаг в сторону, чтобы обойти бывших соседей.

Но Фомичеву хотелось, чтоб все было по-хорошему:

— Как же вы устроились на новом месте, уважаемая Анастасия Петровна? Удобная квартира?

— Очень удобная, замечательная даже, — со злорадным удовольствием ответила Анастасия Петровна. — Две комнаты, да еще кухня, как комната. И ванная. А в передней кладовочка. Балкон есть...

Варвара поджала губы:

— Ну уж, в нашей копоты только на балконе сидеть...

— Не скажите, — с достоинством возразил Федор Иванович. — Если посадить ползучие растения да по веревочкам их пустить к навесу, очень приятно получится...

Фомичев решил отвести разговор от опасной темы.

— Горбылева сейчас встретил. Завтра открывает запись желающих взять к себе молодёжь на подселение.

Анастасия Петровна заторопилась:

— Идем, Федор Иванович, а то мне обед еще готовить надо...

Но Фомичев не заметил или не понял беспокойства Ширяевой.

— Горбылев меня спрашивает, — обстоятельно рассказывал он, — как, мол, я смотрю на это дело? Ну, дураков нет! Возьмешь себе такого жильца, потом век от него не избавишься. Горбылев говорит: «Вы бы хоть на время, хоть до постройки общежития...» А я знаю эти штуки. Сейчас, говорят, на время, а как общежитие выстроят, другие бездомные найдутся. Над этими, скажут, пока не каплет... Еще, чего доброго, придется и в новый дом, в стоквартирный, с собою тащить, когда вторую очередь закончат... Ну, я всего этого ему, конечно, не говорил. Я дипломатично... Жду, мол, Катерина с мужем придет, да и Григорий техникум кончает, негде у нас, дескать, поместить...

— А что, — с интересом спросила Ширяева, — разве от Катерины новые вести есть?

— Как же, как же — письмо, — похвасталась Варвара, — пишет: муж ее получил назначение в Эстонию куда-то, квартиру им дали...

— Вы же говорили, что они сюда едут?

— Да нет, это мы только Горбылеву... Чтоб не нажимад на нас. И Григорий ведь пока домой

не собирается, может, вообще там останется работать...

— Да-да, — засопев, снова сказал Федор Иванович, — ну, бывайте здоровеньки... Пошли, Настасья.

Вечером, поджидая Благих, обещавшего зайти посмотреть, как они устроились, Федор Иванович беспокойно разгуливал по всей квартире.

— Да чего ж он не идет? — поминутно поглядывая на свои старинные серебряные часы с крышкой, спрашивал Федор Иванович.

Анастасия Петровна удивилась:

— Как будто ты и не так дружен с ним, а тут наось — дожидаться не может? Или заскучал?

— Заскучаешь! — неожиданно подтвердил старик, — как в тюрьме здесь — не с кем словом перекинуться.

Анастасия Петровна глаз не подняла, но отозвалась с некоторым вызовом:

— Почему, как в тюрьме? Спокойно, хорошо, никто не лезет с пустыми разговорами...

— С пустыми, с пустыми, — раздраженно заворчал Федор Иванович. — И вовсе не пустой разговор, когда с живым человеком про свое производство беседуешь.

— Да если тебе живого человека в дом надо, так ты бы подселенца взял, — нечаянно для самой себя легко сказала Анастасия Петровна.

— Что? Что?! — растерянно, точно остановленный на полном скаку, переспросил муж.

— Подселенца бы, говорю, взял, из этих... из приезжающих, — отчетливо повторила Анастасия Петровна.

— А ты-то? — закричал Федор Иванович, — А поместить как же?..

— Ну вот, поместить!.. В такой квартире, да не поместить... Вот здесь, в гостиной, хотя бы...

— Так его же, как бы сказать, совсем в семью надо... И постирать там, и зашить, и сготовить... Хлопот-то тебе! Об этом подумала?

Она ободряюще и насмешливо улыбнулась мужу:

— Да ведь я уже вчера, после торжественной части, Горбылеву заявила. Только тебе боялась сказать...

— Что? Что? — опять, как прежде, только очень громко переспросил Федор Иванович и шагнул к жене. — Ах ты, мать честная!.. Вчера заявила! А я и на вечер-то из-за этого не пошел, дежурить вызвался. Я, может, душой заболел за эти дни, места себе не находил, а она вчера заявила и молчит...

Обычно немногословный, он теперь как будто обрадовался возможности все высказать. Оба говорили возбужденно, перебивая друг друга, и со стороны могло показаться, что они ссорятся. Громкий стук с лестницы заставил их замолчать.

— Благих наверно!

Старик бросился к двери. На пороге действительно стоял Благих.

— Что это ты, Федор Иванович, оглох малость? Стучу, стучу, слышу голоса, а никто не открывает...

Пожимая руки и сияя так, что на лице его во всех рябинках переливались отблески света, Благих скороговоркой рассказывал:

— По всем этажам хожу, только что у сына был, он тоже на втором, но в первом подъезде. Сноха пианино купила, ребят учить думает... Вот как теперь у нас, внуки шахтера на пианино играют! А квартирку они убрали — загляденье. Лешка-то после фронта ковер привез, — теперь пригодился. Кроватей нет, упразднили. А есть диван такой низкий, широкий — тахта называется, и ковром покрыт.

— Все по-новому, — попытался вставить словечко Федор Иванович.

Благих с любопытством оглянулся и тут же, задавая вопросы, сам начал отвечать на них:

— Ну-ка покажи, покажи, как вы устроились? Абажур уже приладили? Я тоже. А вот за картину я на тебя зол, Федор Иванович. Зол, зол, не оправдывайся. Так у вас здесь столовая, значит? Или гостиная?

— Да нет, это пока только, потом подселенца тут поместим, — вмешалась в разговор Анастасия Петровна.

Благих сразу осекся, удивленно и недоверчиво поглядывая на нее:

— Таковую комнату сопляку какому-то? И колпак, значит, и картину — все для него покупали?

— Почему же для него? Для себя. Раз мы человека в семью берем, так и комната будет для всей семьи, и прочее тоже...

Анастасия Петровна говорила спокойно и убежденно, как будто успела заранее подготовить ответы. Ширяев с одобрением поглядывал на жену.

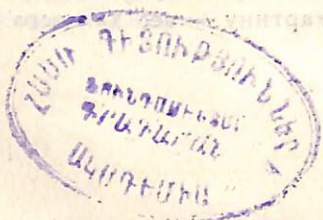
— А я ведь тоже, сказать по совести, подумываю, — вдруг признался Благих, — со вчерашнего вечера все думаю насчет этого дела. Уж совсем решился было, да Фомичева, будь он не ладен, повстречал. Не стоило, говорит, для этого в новый дом въезжать...

Федор Иванович по привычке нахмурился и засопел, подыскивая возражение. Анастасия Петровна тоскливо поглядела на него: «Быстр он на дела, а словами не богат...», и уже собиралась снова вмешаться в мужскую беседу, но Федор Иванович решительно опередил ее:

— Эх, Елизар Кондратьевич, — с сожалительной усмешкой сказал он, — а по-моему, так не стоило в новый дом со старыми чувствами въезжать.

— Как это со старыми? — не понял Благих.

— С фомичевскими, — коротко объяснил старик и, считая вопрос исчерпанным, повернулся к жене: — Собирай на стол, старуха, праздновать будем!



ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

Самое главное	3
Отец и сын (очерк).	121
Обыкновенная история (очерк).	133
Шахтерский доктор (очерк)	185
Новый дом	197

5

Редактор *Н. Соколова*
Техн. редактор *З. Малек*

* *

A06133. Подп. к печ. 10/VIII-48 г.
Формат 70x105/32. Объем 8 печ. л.
Знаков в печ. л. 44000. Уч.-изд. 8,2 л.
Тираж 15 000. Зак. 2750.

* *

1-я типография Профиздата.
Москва, Крутицкий вал, 18.



ԳԱՆ Հիմնարար Գիտ. Գրադ.



FL0388050

22568

Цена 5 руб.

RD $\frac{1}{3291}$

32